

ВИЛЕНСКИЙ ВѢСТНИКЪ КУРЬЕРЪ ВІЛЕНСКИ

ВЫХОДИТЬ

по Вторникамъ, Четвергамъ и Субботамъ.

Предплата: Россия: W Wilnie... Z пресою... Pótroenna: W Wilnie... Z пресою...

Квартална: W Wilnie... Z пресою... Miesięczna: W Wilnie... Z пресою...

WYCHODZI

we Wtorki, Czwartki i Soboty.

Rok 1863.

СОДЕРЖАНІЕ.

Часть официальная: Высочайшая грамота... Часть неофициальная: Выдержки изъ „la Presse“ и „Głos“... Иностранныя известія: Франція, Пруссія, Швеція... Литературный отдѣлъ: Письма изъ Праги и Кенигсберга...

Пребывая къ войску Донскому навсегда благосклоннымъ, благоволили Мы подписать сію грамоту Собственной НАШЕЮ рукою и государственною печатью утвердить повелѣли.

Дана въ С.-Петербургѣ, мѣсяца сентября въ восьмой день, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ шестьдесятъ третья, государствованія же НАШЕГО въ девятое.

На подлинной Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: „АЛЕКСАНДРЪ.“ (Свв. Поч. N. 207)

Часть Официальная.

С.-Петербург, 23-го сентября.

Высочайшая грамота, данная войску Донскому. БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКІЙ

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИЛАНДСКІЙ, и прочая, и прочая, и прочая.

НАШЕМУ вѣрно-любозному войску Донскому.

Вѣрность и преданность войска Донскаго всероссийскому престолу, постоянная готовность его быстро послышать всюду, гдѣ угрожаетъ опасность любозному НАШЕМУ отечеству, доблестные подвиги и многочисленные труды въ войнахъ и спокойная трудолюбивая дѣятельность въ домашнемъ быту постоянно обращали НАШЕ внимание и внушали къ войску Донскому сердечную привязанность НАШУ, начавшуюся еще со времени бытности НАШЕЙ Атаманомъ его.

Въ возданіе столькихъ заслугъ войска Донскаго и въ знакъ особаго НАШЕГО къ нему благоволенія, Мы повелѣли: въ облегченіе многотрудной службы Донскихъ казаковъ и для предоставленія имъ болѣе способствъ къ улучшенію домашнего быта, сократить для всѣхъ чиновъ срокъ службы, назначая отнынѣ: для полевой— 15 и для внутренней— 7 лѣтъ.

Въ довершеніе Всемилоствившаго благоволенія НАШЕГО къ войску Донскому, Мы подтверждаемъ всѣ права и преимуществъ, дарованныхъ ему въ Божѣ почитающимися Высочими Предками НАШИМИ, утверждая ИМПЕРАТОРСКИМЪ словомъ НАШИМЪ, какъ ненарушимость настоящаго образа его служенія, стѣжавшаго войску Донскому историческую славу, такъ и непривкосновенность всѣхъ выгодъ, угодій и окружности владѣній его; приобритенныхъ трудами, заслугами и кровью предковъ его и утвержденныхъ за войскамъ МОНАРШИМИ грамотами 1793 года, мая 27-го, 1811 года, августа 30-го, 1817 года, ноября 19-го и 1832 года, февраля 23-го дня.

ИПОТЕКА ВЪ ЦАРСТВѢ ПОЛЬСКОМЪ.

Въ Жур. Мин. Юст. помѣщенъ разборъ статьи о ипотечномъ порядкѣ въ Царствѣ Польскомъ г. Фрейберга. Представляемъ здѣсь выписку изъ этой любопытной статьи.

При обсужденіи, говорить авторъ, въ 1818 году главныхъ началъ нынѣ дѣйствующаго въ царствѣ ипотечнаго порядка, польскіе юристы обладали почти безприимчивымъ въ другихъ странахъ богатствомъ матеріаловъ и практическихъ свѣдѣній по этой части законодательства. Всѣ извѣстныя въ Европѣ ипотечныя системы имѣли въ Польшѣ, одна за другою, обязательную силу, и поэтому ихъ достоинство и недостатки могли быть испитаны въ практическомъ примѣненіи. Первыя понятія объ ипотекѣ являются въ законодательствѣ Польши въ концѣ XVI столѣтія: сеймовое постановленіе 1588 года опредѣляетъ, что право первенства на удовлетвореніе, въ случаѣ взыскапія съ обремененнаго должника имѣнія, принадлежитъ тому залогодавцу, котораго долгъ раньше внесенъ въ судебныя акты. Затѣмъ ипотечнаго порядка, находящіяся въ этомъ постановленіи, получили дальнейшее развитіе въ постановленіяхъ 1768 и 1775 г.

Послѣ раздѣла Польши, въ провинціяхъ, подпавшихъ подъ владычество Пруссіи, введена была прусская ипотечная система; въ провинціяхъ, отошедшихъ къ Австріи, получили обязательную силу австрійскіе законы объ ипотекахъ; при учрежденіи герцогства варшавскаго, въ составъ коего вошли частію тѣ и другія провинціи, господствовали въ герцогствѣ, въ одно и то же время, двѣ системы: австрійская и прусская. Въ 1808 году, со введеніемъ въ герцогство французскаго кодекса, получили обязательную силу постановленія сего кодекса объ ипотекахъ.

И такъ причина недостатковъ польскаго ипотечнаго порядка есть въ особенности введеніе французскаго кодекса, нѣкоторые постановленія коего объ ипотечномъ порядкѣ, къ несчастію, сохранились, въ уставѣ 1818 г., какъ увидимъ ниже. Г. Фрейбергъ справедливо замѣчаетъ, что французскіе законы объ ипотекахъ счи-

тались крайне недостаточными. И не удивительно, что въ 1808 году французскіе законы объ ипотекахъ были негодны, когда въ 1855 году французъ де-Беллеймъ недостатки этихъ законовъ изображаетъ самыми яркими красками.

Уставъ 1818 года спасъ Польшу отъ крайняго разстройства въ общественномъ кредитѣ. Для введенія его въ дѣйствіе приняты были слѣдующія мѣры: учреждена ипотечная коммисія; назначенъ окончательный срокъ для представленія въ коммисію доказательствъ права на недвижимыя имѣнія, какъ свои, такъ и принадлежащія другимъ; принято правило, что изготовленные коммисіею указатели для каждаго воеводства и губерніи, по истеченіи срока, получаютъ значеніе документовъ, гарантированныхъ общественнымъ довѣріемъ. Коммисія перебрала изъ воеводства и исполнила возложенное на нее порученіе въ срокъ, назначенный особо для каждаго изъ нихъ.

Очень хорошо разсказаны г. Фрейбергомъ работы коммисіи. Онъ раздѣлялъ на приуготовительныя и окончательныя.

Приуготовительныя работы были: составленіе списковъ имѣній и владѣльцевъ; рассмотреніе претензій ипотечныхъ актовъ; составленіе частныхъ и общихъ росписаній, регуляціонныхъ сроковъ и публикацій. Коммисія требовала отъ мѣстныхъ властей каждаго воеводства списковъ всѣмъ имѣніямъ воеводства и городскимъ домамъ съ означеніемъ ихъ собственниковъ, а также прежніе акты объ этихъ имуществвахъ изъ ипотечнаго архива. По рассмотрѣніи тѣхъ и другихъ документовъ, коммисія назначала срокъ для регуляціи каждаго имѣнія и публиковала объ нихъ въ двухъ газетахъ Варшавы и въ официальныхъ вѣдомостяхъ подлежащаго воеводства, вызывая всѣхъ заинтересованныхъ лицъ къ явкѣ для регуляціи ипотекъ. Срокъ явки назначить былъ такъ, чтобы устройство первыхъ поименованныхъ въ публикаціи имѣній происходило не раньше 4 недѣль со дня публикаціи. Къ явкѣ приглашались публикаціями: владѣльцы недвижимаго имущества и вообще всѣ тѣ лица, которыхъ считали за собою болѣе право на имѣніе, чѣмъ, настоящій владѣлецъ или равныя съ нимъ

T R E S Ć

Сзѣсь урэдова: Найвысшій дипломат. Мianowania.

Сзѣсь неурэдова: Артыкулы зъ dzienników la Presse i Głos. Od Redakcji.

Wiadomości zagazaniezne. Pogląd ogólny.— Франція, Прусы.— Швеція.— Depesze telegraficzne.

Dział literacki. Hypoteka w Królestwie Polskim.— Bob-Rock, powieść Seelsfielda.— Wiadomości bicia.— Listy z Pragi i Królewca.— Rozmaitości.— Dziennik Wileński.— Ogłoszenia.

Сзѣсь Урэдова.

St. Petersburg, 23 września.

Найвысшій дипломат, даны на иміе войска Доñскаго.

Z BOŻEJ ŁASKI

МЫ АЛЕКСАНДРЪ ДРУГИЙ,

ЦЕСАРЪ и САМОВЕДЦА ВСЗЕЧРОССІИ

КРОЛЪ ПОЛСКИ, ВІЕЛКИ КСАІЖЕ ФІНЛАНДСКИ etc. etc.

НАШЕМУ вѣрнѣ-укочанему войску Доñскаму.

Вѣрность и причесхлность войска Доñскаго къ тронѣмъ Всзечроссіи, стала готовость оного быстро спешить wszędzie, гдѣ грози неbezpieczeństwo NASZEJ ukochanej ojczyzny, znakomite czyny i wieloletnie prace w wojnach, oraz spokojna pracowita działalność w domowym byciu, szczerze zwracały NASZĘ uwagę i natchnęły NAS ku wojsku Doñskiemu serdecznem przywiązaniem, które się poczęło jeszcze od czasu jakę MY byli Atamanem oного.

Въ ознаку тылу заслугъ войска Доñскаго и въ dowód szczególnej NASZEJ ku niemu łaskawości, MY rozkazaliśmy: dla ulżenia bardzo trudnej służby Doñskich kozaków i dla dostarczenia im więcej sposobów ulepszenia bytu domowego, skrócić dla wszystkich stopni termin służby, przeznaczając odtąd: dla połowej 15 a dla wewnętrznej 7 lat.

Въ dokonaniu Najmłodszej łaskawości NASZEJ ku wojsku Doñskiemu, MY zatwierdzamy wszystkie prawa i przywileje nadane mu przez w Bogu spoczywających Wysokich przodków NASZYCH, zapewniając CESARSKIM słowem NASZEM tak niewzruszoną obecność sposobu służby oного, która zdobyła dla wojska Doñskiego historyczną sławę, jako też nietykalność wszystkich wygód, użytków i obrębu posiadłości oного, zdobytych przez prace, zasługi i krew przodków oного, oraz zapewnionych dla wojska przez listy MONARSZE 1793 roku maja 27, 1811 roku sierpnia 30, 1817 roku listopada 19 i 1832 roku lutego 23 dnia.

Pozostając ku wojsku Doñskiemu na zawsze przychylnym, MY raczyliśmy podpisać list obecny Własną NASZĄ ręką i zatwierdzić pieczęcią państwa rozkazali.

Dan w St. Petersburgu, dnia ósmego, miesiąca września, roku od Narodzenia Chrystusa tysiąc ósmset sześćdziesiąt trzeci go; a panowania NASZEGO, dziewiątego. Na oryginalne Własną JEGO CESARSKIEJ MOŚCI ręką napisano: „ALEKSANDER.“ (Pocz. póln.)

— Przez Najwyższy Mienni ukaz dany do senatu rządzącego 11 września, samarskiemu gubernatorowi cywilnemu ZAMIATNINOWI Najmłodszej rozkazano być zarządzającym wydziałem ziemskim ministerjum spraw wewnętrznych.

— W biurze wileńskiego wojennego Gubernatora, kowieńskiego, grodzieńskiego i mińskiego General-Gubernatora oraz naczelnika głównego witebskiej i mohylewskiej gubernji — sekretarz gubernjalny MIASOJEDO w mianowany urzędnikiem dla szczególnych poleceń VII klasy przy p. General-gubernatorze; asesor koll. SZKIBICZ, sędzią osmiąnskiego sądu powiatowego, na miejscu uwolnionego od tegoż obowiązku porucznika CZERNICKIEGO; pomocnik naczelnika stołu wileńskiego szlacheckiego zgromadzenia deputatów sekr. koll. SPONTI, sekretarzem wilejskiego powiatowego zarządu policyjnego.

— Przez postanowienia wileńskiego rządu gubernjalnego, asesor trockiego sądu powiatowego asesor kol. WOJEWODZKI został uwolniony od obowiązku, a na jego miejsce mianowany sekretarz kollegjalny WILKANIEC; zaliczeni do służby rządowej; jeometra STEFANOWICZ, dymisjonowany podoficer SKABERTIN przy biurze pana naczelnika gubernji wileńskiej, dymisjonowany junkier pskowskiego piasku general-fidmarszalka księcia Kutuzowa Smoleńskiego pułku, dworzanin Edward OKUSZKO, do etatu tegoż rządu.

— Przez postanowienie rządu gubernjalnego wileńskiego, pomocnik przystawa w m. Wilnie registrar kollegjalny MALCOW, został uwolniony od obowiązku, a na jego miejsce mianowany dymisjonowany sekretarz kollegjalny KRYŁOW; buralista wilejskiego sądu powiatowego PIETKIEWICZ, naczelnikiem stołu tegoż sądu; sekretarz dzisieńskiego powiatowego sądu radca honor. BUJWID, uwolniony od obowiązku, a na jego miejsce mianowany b. sekretarz dzisieńskiego zarządu policyjnego reg. kol. GODLEWSKI.

СЗѢСЬ НЕУРЭДОВА

ZGODA TRZECH MOCARSTW.

Przytaczamy z dzien. la Presse nowe pismo Emila Girardin o dyplomatycznym stanie Europy. „Zapewne jest rzeczą dotkliwą by: pośrednikami osoby trzecie, prosić dla niej i nie otrzymać; zapewne zamiar nie stanie za skutek. Ale jeżeli przy tém wstawieniu się zajdzie niepopowedenie, to przecież niema opoworkenia. Inaczej Francja, która już od 14 lat domaga się w Rzymie reform i niemoże ich osiągnąć, powinna poczytać siebie za bardzo skrzywdzoną przez papieża; inaczej Francja, która

ное право, сохраняя только личное право къ своему должнику. Такимъ образомъ, замѣчаетъ авторъ, установлена была въ Царствѣ Польскомъ ипотечная достоверность и несомнѣнность относительно отвѣта на вопросъ, кто почитается законнымъ владѣльцемъ имѣнія. Достоверность и несомнѣнность относительно правъ владѣльца при дальнѣйшемъ переходѣ недвижимыхъ имуществъ отъ одного лица къ другому была поддерживаема и по нынѣ сохраняется постояннымъ дѣйствіемъ принципа гласности документовъ на право собственности. Такимъ образомъ введена была въ Царствѣ Польскомъ ипотечная достоверность и несомнѣнность относительно долга и обязательства, обремененныхъ на имѣніи. Всякій приобритавшій имѣніе отъ пераго гласнаго владѣльца обязанъ былъ принять на себя отвѣтственность имѣніемъ за тѣ только долги и обязательства, которые внесены въ ипотечную книгу. Достоверность и несомнѣнность относительно ипотечныхъ обязательствъ, по каждому недвижимому имуществу, при дальнѣйшихъ сдѣлкахъ была поддерживаема и по нынѣ охраняется постояннымъ дѣйствіемъ принципа гласности ипотечныхъ долговъ. Если имѣніе состояло въ спорѣ и явившійся къ сроку лица объявляли объ немъ, то споръ записывался въ ипотечномъ указателѣ до рѣшенія для судебныхъ порядкомъ.

Окончательныя работы коммисіи разсказаны г. Фрейбергомъ превосходно. Избѣгая подробной выписки, мы особенно рекомендуемъ читателямъ эту часть труда автора и присовокупимъ вообще, что принятый въ Польшѣ порядокъ можно было бы употребить не только при введеніи у насъ ипотечной системы, но и для окончательнаго размежеванія чрезволосныхъ земель, которое у насъ сопряжено съ чрезвычайными затрудненіями и разрушаетъ всю силу закона, желаншаго, для прекращенія исконныхъ и тяжбъ, уничтожить вредную чрезволосность. (Продол. впрѣд.)

да свое посредничество и не могла навязать его, должна была бы тоже почтить себя обиженною президентомъ Липкольномъ. Если г. Друэн-де-Люи одинаково потерпелъ неудачу въ Санктпетербургѣ, въ Римѣ и Уашингтонѣ, то это только доказываетъ, что у него невѣрный взглядъ и несчастливая рука; это, можетъ быть, доказываетъ, что ему садовало бы удалиться, по это вовсе не доказываетъ, чтобы Франція въ отищеніе за эту тройную дипломатическую неудачу, должна была начать войну съ Уашингтономъ, Римомъ и Санктпетербургомъ, истребивъ еще разъ отборное юношество новаго поколѣнія и вписавъ въ государственную книгу еще разъ огромный долгъ, не для того, чтобы довершить въ начатыхъ нами великихъ работъ, но чтобы превратить заступы въ штыки, свинець въ пули, а мѣдь въ пушны.

„Если Франція, не выведя своихъ войскъ изъ Рима и не пославъ своихъ эскадръ въ Нью-Йоркъ, будетъ дѣйствовать такимъ же образомъ и съ Россіею, будучи руководима тою же остротностію, то почему не объясниться тотчасъ же и откровенно? Къ чему разсѣвать долге сомнѣнія, мракъ, двусмыслие, загадочность? Къ чему увещивать неопредѣленное положеніе дѣлъ, говоря о согласіи трехъ державъ и утверждая, что оно теперь прочнее и сильнѣе, нежели когда-либо? То, что „Pays“ выставляетъ какъ свѣдѣніе, полученное конфиденціально, просто ложь. Согласіе трехъ державъ составляетъ слово, неимѣющее теперь смысла, послѣ окончательнаго отища князя Горчакова, если не вестъ къ войнѣ Англій, Франціи и Австріи противъ Россіи.

„Но Англія не хочетъ войны: лордъ Пальмерстонъ и лордъ Россель повторяли это уже нѣсколько разъ въ палатахъ общины и лордовъ; а Австрія не можетъ воевать. Нѣтъ! Австрія не можетъ, покада сохранитъ за собою Краковъ, присоединенный ею вопреки самыхъ энергическихъ протестовъ Англии и Франціи, покада она сохранитъ Галицію, которая, въ силу 11-го параграфа 1-й статьи договора 9 го июня 1815 года, имѣетъ 15 же права, какъ Варшавское Герцогство, на народное представительство и на національную законность, покада сохранитъ Венецію, которая точно такъ же не хочетъ владѣть два австріейцевъ, какъ польскіе инсургенты не хотятъ русскаго правительства.

„Такимъ образомъ, если Англія не хочетъ, а Австрія не можетъ вести войну, то Франція, начиная ее вопреки всѣхъ деклараций, исполнитъ собственное свое желаніе, а не согласіе трехъ державъ. Следовательно, пусть „Pays“ вычеркнетъ изъ своего лексикона пустую фразу: *согласіе трехъ державъ*. Дипломатическое согласіе, болѣе видимое, нежели существующее, м гла между ними состоитъ въ, вооруженное согласіе, когда дѣло идетъ уже не о выставкѣ фразъ и строчекъ, но о выставкѣ людей и пушекъ, не можетъ установиться, и не устанавливается, потому что оно не въ природѣ вещей.

„Мы создаемъ, что положеніе очень щекотливо, особенно въ ту минуту, когда законодательный корпусъ, состояющій изъ новозаконодательное собраніе, долженъ скорѣе собласть, и когда серьезные преи по проекту адреса не оставятъ въ тѣни ни одной декларации г. Бильо, ни одной депеши г. Друэн-де-Люи; но, находясь въ этомъ-то щекотливомъ положеніи, императоръ Наполеонъ III превосходно имѣетъ разрѣшать его искренними сознаними и такимъ языкомъ, который только ему одному свойственъ, не боясь выставитъ наружу свои намѣренія и свои дѣйствія и признавая публично Францію судьею въ томъ, что онъ хотѣлъ и чего не могъ сдѣлать.

„Императоръ французскій хотѣлъ, чтобы поляки имѣли, по крайней мѣрѣ, гарантіи и законности, дарованными имъ императоромъ Александромъ I. Мысль похвальная! По несчастію, императоръ французскій могъ получить отъ Императора АЛЕКСАНДРА II только одно обѣщаніе. Где же тутъ оскорбленіе, гдѣ стыдъ? Чтобы получить отъ другаго государства исполненіе какого-либо требованія, неужели довольно одного этого требованія? Если стыдно, унижительно, оскорбительно получить отказъ, то каковыя же образомъ Англія, эта великая страна и этотъ гордый народъ, переноситъ ихъ и не извергнетъ кабинета Пальмерстона? А себѣ лордъ Пальмерстонъ и лордъ Россель пали отъ распределения голось въ парламентъ, кто были бы ихъ преемниками? Главы партіи торъ нечелюкѣ невраждобны рѣшениамъ Россіи, по еще благоприятствуютъ имъ. Австрія находится въ ложномъ и щекотливомъ положеніи; дѣйствія ея противорѣчатъ словамъ. По дѣйствіямъ она союзница Россіи, а по словамъ союзница Англии и Франціи; а потому мы оставимъ ее восторжъ и не возьмемъ въ посредницы по вопросу о чести.

„Между Россіею съ одной стороны и между Англіею, Австріею и Франціею съ другой существуютъ разногласія, но нѣтъ оскорбленія. Вотъ вся истина. Давно ли же несогласіе означаетъ обиду? Кто хочетъ оскорбить, тотъ не беретъ на себя труда оправдываться. Чемъ длиннѣе меморандумъ князя Горчакова (и длиннѣе не значить *затянутое*), тѣмъ болѣе эта длиннота служитъ доказательствомъ, что намѣреніе сдѣлать малѣйшую обиду Англии, Франціи и даже Австріи не входило въ мысль русскаго кабинета.

„Следовательно, весь вопросъ объ оскорбленіи объ униженіи, о стыдѣ долженъ быть устраненъ. И тогда чтожь остается? Остаются депеши г. Друэн-де-Люи, которыя въ архивахъ присоединены къ депешамъ г. Гизо, а депеши лорда Росселя присоединятся къ депешамъ лорда Пальмерстона, на могилъ Австріи. Что же все это доказываетъ? Это доказываетъ, что, при началѣ, вмѣсто того, чтобы вести дипломатическую полемику, лучше было бы тотчасъ же послать въ С.-Петербургъ, смотря по положенію, которое хотѣло принять французское правительство, или принца Наполеона, который такъ удивительно успѣлъ окончить въ Берлинѣ щекотливый невшательскій вопросъ, или герцога Морни, который достигъ бы той же цѣли, но только другимъ, можетъ быть, противоположнымъ путемъ.

„Надобно всегда быть скрупнымъ на депеши и ноты. Люди, сильнѣе въ дипломатическихъ тѣмахъ, очень похожи на епископа Шампора (\*), который готовъ былъ бы зажечь домъ, чтобы сварить себѣ два яйца. Они готовы заставить подрасть между собою два наиболее дружественныя государства, для поддержанія чести депеши, ноты, меморандума, манифеста, ультиматума, ультиматиссима... О, Мольеръ!

„Изложеніе е нами теперь мнѣніе принадлежитъ не намъ однимъ: точно также думаетъ и человекъ, который долго занималъ званіе французскаго посланника въ Лондонѣ.

„Достоверно, что Россія борется теперь съ внутренними затрудненіями, важными и разнообразными; достоверно, что Императоръ АЛЕКСАНДРЪ II одушевленъ либеральными намѣреніями, неуступающими ни въ чемъ намѣреніямъ императора Франца-Иосифа; до-

ствѣрно, что усмиренія Польши болѣе всѣхъ желаетъ русское правительство, которое, выбравъ для этого маршала Велепольскаго, могло ошибиться, но ошиблось съ полнымъ правомъ. Если не оцѣнили этихъ важныхъ внутреннихъ затрудненій, этихъ очевидныхъ добрыхъ намѣреній, этихъ неоспоримыхъ выгодъ, если приперли Россію къ стѣнѣ и отдали ее подъ судъ Европы, то это ошибка, въ которой нѣтъ извиненія, и которую иначе объяснить нельзя, какъ увлеченіемъ полемики, въ видѣ депеши, вмѣсто того, чтобы оставаться ей въ видѣ журнальныхъ статей. Зато, каждая ошибка, въ которой сознаются, уже до половины исправлена. Франція тѣмъ легче можетъ сознаться въ ней, что сдѣлала эту ошибку вмѣстѣ съ Англіею и Австріею.

„Сознаться гораздо лучше; сознаться явно, ясно—гораздо приличнѣе, нежели окружить себя туманною фразеологіею газеты „Pays“, которой изищному вкусу не подражалъ даже и „Constitutionnel“. Мы его поздравляемъ съ этимъ. Дипломатія окончила свое дѣло. Теперь цивилизация должна продолжать его, и получить отъ Россіи для Польши если не независимость, то по крайней мѣрѣ, свободу. И цивилизация получитъ ее!“ (Гол. N. 244)

**Польскія извѣстія.** Изъ Варшавы, отъ 26 сентября, въ „Новую прусскую газету“ пишутъ: обыски монастырей продолжаютъ, это обстоятельство не должно удивлять тѣхъ, кто, на основаніи личнаго наблюденія, могъ убѣдиться въ связи, существующей между революціей и польскими католическимъ духовенствомъ вообще; въ особенности же въ революціонныхъ тенденціяхъ того духовенства, которое принадлежитъ къ монастырямъ и къ сословію монаховъ. Давно уже подозрѣвали существованіе тайныхъ типографій въ монастыряхъ. Обыски заставляли замолчать тайную революціонную прессу, и, сверхъ того, имѣли еще другія послѣдствія. Какъ слышно, во время обысковъ были открыты не только склады оружія, но и цѣлыя лаборатории; дѣло, впрочемъ, еще точно неизвѣстно, на томъ основаніи, что не одни поляки молчатъ по этому поводу,— что съ ихъ стороны совершенно естественно,— но и русское правительство, по большей части, сохраняетъ въ тайнѣ результаты подобныхъ отрытій; до тѣхъ поръ, покаместъ оно не найдетъ нужнымъ обнародовать во всеобщее свѣдѣніе факты, дознанные слѣдствіемъ, одновременно съ судебнымъ приговоромъ виновныхъ.

Въ монастыряхъ существуетъ множество закоулковъ и потаенныхъ мѣстъ, отыскать которыя чрезвычайно трудно, такъ что обыски должны поглотить еще много времени. Одни подземные ходы крестовой церкви и принадлежащаго къ ней монастыря простираются до „Новаго свѣта“ и краковскаго предместья, и подходятъ плотно къ Ерополскимому городскому валу, позади строеній станціи желѣзной дороги. Внутри города, они достигаютъ вышнихъ монастырскихъ стѣнъ. Говорятъ, что эти подземныя галереи идутъ еще дальше, и находятся въ связи съ повонскимъ католическимъ кладбищемъ, отстоящимъ по крайней мѣрѣ на полнѣмцевой милѣ отъ города. Третьяго дня, на этомъ кладбищѣ, ребенокъ случайно указалъ елеть, въ которомъ открыли тайную канцелярію, среди ея занятій и множество весьма важныхъ документовъ. Понятно, что инсургентамъ было чрезвычайно удобно, незамѣтнымъ образомъ, проникать въ городъ и выходить изъ него, при помощи подобныхъ ходовъ, и въ то же время становиться какъ нельзя болѣе асымъ, что обыскъ монастырей и принадлежащихъ къ нимъ строеній—дѣло, въ высшей степени необходимое для подавленія мятежа. Возмутительно слышать вѣмечія заграничныхъ газетъ, когда онѣ, основываясь единственно на польскихъ сообщеніяхъ о грабежахъ и жестокости русскіихъ, говорятъ въ тонѣ, совершенно несогласномъ съ истиной, и подстрекательствомъ своими стараются еще болѣе возбудить общую неприязнь къ Россіи.

Такимъ образомъ, извѣстіе о томъ, что русскіе солдаты не только били прикладами графиню Замойскую при обыскѣ ея дома, но и сорвали съ нея бриллиантовыя украшенія, оказывается совершенно ложнымъ. Графиня Замойская вовсе не жила въ этомъ домѣ; жена графа Андрея Замойскаго, какъ извѣстно, скончалась еще въ прошломъ году. Сверхъ того, извѣстно, что до занятія домовъ караулами, генералъ Корфъ далъ позволеніе дамамъ, и вообще всему женскому населенію первыхъ этажей, воспользоваться двухчасовымъ срокомъ и вынести всѣ принадлежанія имъ драгоцѣнности и способныя къ переноскѣ вещи. Въ теченіе вышеупомянутаго срока, генералъ Корфъ востоянно былъ налицо. Только по истеченіи этого срока, все, что не было еще вынесено, подверглось истребленію огнемъ. Прочіе этажи были пощажены и еще третьяго дня жители переносили оттуда свою мебель. (В. Вѣд. N. 336)

**ОТЪ РЕДАКЦІИ.**

Многіе изъ гг. подписчиковъ снова обращаются въ редакцію съ просьбами о высылкѣ газеты въ послѣдніе мѣсяцы, въ долгу.

Какъ же въ настоящее время пріемъ денежной корреспонденціи повсемѣстно уже возстановленъ, а потому Редакція считаетъ нужнымъ увѣдомить, что она не можетъ болѣе послать Виленскаго Вѣстника, безъ предварительнаго полученія слѣдующихъ денегъ.

Желающіе получить „Виленскій Вѣстникъ“ въ послѣдніе три мѣсяца, съ 1-го октября, благоволятъ заблаговременно адресоваться въ редакцію.

Цѣна за три мѣсяца, съ 1-го октября 1863 по 1-е января 1864:

въ Вильнѣ . . . . . 3 руб. сер.  
съ пересылкою . . . . . 3 — 50 коп.  
за одинъ мѣсяць безъ пересылки 1 — сер.

Какъ же почтовое сообщеніе въ краѣ уже совершенно возстановлено, то редакція проситъ гг. подписчиковъ, получавшихъ доселѣ газету въ долгу, о скорѣйшей высылкѣ слѣдующихъ ей денегъ.

въ Вашингтонѣ выступила въ посредничествѣ и не могла доказать, абы же прійзго, повиннаы также разумѣть, же ја през; dent Lincoln мочно образил. Jeżeli pan Droun de Lhuys jednostajnego doświadczyl niepowodzenia w Petersburgu, w Rzymie i w Waszyngtonie, dowodzi to tylko, że niema trafnego oka i szczęśliwej ręki; może to dowodzić, że należałoby usunąć się, ale bynajmniej nie dowodzi, że mszając się za to troiste dyplomatyczne niepowodzenie, Francja powinna rozpocząć wojnę z Waszyngtonem, Rzymem i Petersburgiem, wypić raz jeszcze wybor młodzieży nowego pokolenia i wpiąć w wielką księgę; znowu ogromny dług nie dla dokonczenia wszystkich rozpoczętych wielkich robót, ale żeby rydle przekuć na bagnety, ołow przelać na kule, a miedz na działa.

„Jeżeli Francja nie wyprowadza wojska swojego z Rzymu i nieposyla floty swojej do New-Yorku, z równą ostróżnością niech dziala i z Rossją, czemuż nie wypowiedzieć tego natychmiast i otworzyć? Poczój rozsiewać dluzęj wziępliwosc, pomokę, dwuznaczność, zagadkowosc? Poczój powiększać nieokreślony stan rzeczy, mową o zgodzie trzech mocarstw i twierdzić, że ta zgoda jest dziś trwalszą i silniejszą niżeli kiedykolwiek? To, co dziennik Pa y s przedstawia za wiadomosc, poufanie otrzymaną, jest prosto kłamstwem. Zgoda trzech mocarstw jest dziś słowem bez znaczenia po ostatecznej odpowiedzi ksiązeczka Gorczakowa jeżeli nie prowadzi do wojny Anglii, Francji i Austrii z Rossją.

„Ale Anglia nie chce wojny; już lordowie Palmerston i Russell kilkakrotnie to powtórzyli w obu izbach; a Austria nie może wojować. Nie! Austria nie może, dopóki trzymać zechce Kraków, przyłączony wbrew protestacjom Anglii i Francji, dopóki zatrzyma Galicję, która w moc 11 paragrafu artykułu pierwszego traktatu 9 czerwca 1815 roku ma też same prawa co i księstwo warszawskie, do przedstawicielstwa ludowego i ustanowien narodowych, dopóki zatrzyma Wenecję, która tak samo niechce panowania austriackiego, jak polscy powstańcy niechcą rządu rossyjskiego.

„Takim sposobem, jeżeli Anglia niechce a Austria niemoże toczyć wojny, Francja więc rozpoczynając ją wbrew wszystkim oświadczeniom, spełni własne tylko swoje życzenie, lecz działać nie będzie w skutek zgody trzech mocarstw. Niech zatem dziennik Pa y s wymaże ze swojego słownika marne wyrażenie: *z g o d a t r z e c h m o c a r s t w*. Zgoda dyplomatyczna, więciej pozorna niż rzeczywista mogła między niemi istnieć, ale zgoda zbrojna, kiedy rzeczy doszły już nie do sykowania słów i wierszy, ale do sykowania żołnierzy i dział, miejsca mieć niemoże, bo przeciwną jest przrodzeniu rzeczy. „Przyznajemy, że położenie jest drażliwe, zwłaszcza w chwili, kiedy ciało prawodawcze, składające nową izbę, wkrótce ma się zebrać, i kiedy natarczywe rozprawy nad projektem adresu nie zostawia w cieniu ani jednego oświadczenia pana Billault, ani jednę depeszę pana Droun de Lhuys; ale Napoleon III znalazłszy się w tém drażliwym położeniu, doskonale umie rozwiązywać je szczerem wyznaniem i językiem sobie jednemu tylko właściwym, nie bojąc się wystawić na jaw swych zamiarów i swych działañ i odwołując się otwarcie do sądu Francji o tѣm, czego pragnął i czego dokonać niemógł.

„Cesarz Francuzów chciał, aby Polacy mieli przynajmniej rękojmie i ustanowienia darowane im przez Cesarza Aleksandra I. Myśl chwalebna! Na nieszczęście cesarz Francuzów mógł otrzymać od CESARZA ALEKSANDRA II tylko obietnicę. Gdzież tu wstyd i krzywda? Czyż dosyć jest tylko żądać, aby wnet od innego państwa otrzymać spełnienie jakiegokolwiek żądania? Jeżeli jest wstydem, poniżeniem, krzywdą, odebrać odmowę, dla czego Anglia, ten wielki kraj, ten dumny naród żnosz je i nie obali gabinetu Palmerstona? A gdyby lordowie Palmerston i Russell padli pod przewagą głosów w parlamencie, jacyż byliby ich spadkobiercy. Przewodniczy stronnictwa toryssowskiego nie tylko nie są przeciwnikami postanowień rossyjskich, ale im sprzyjają. Austria znajduje się w fałszywym i drażliwym położeniu; jej postępkі zaprzeczają słowom. Według postępków, jest ona sprzymierzenką Rossji, a w słowach sprzymierzenką Anglii i Francji; dla tego zostawimy ją na stronie i nie weźmiemy za pośredniczkę w sporze o honor.

„Między Rossją z jednej strony, a między Anglią, Austrią i Francją z drugiej, istnieje różnica zdań, ale niema obrazu. Jest to niezbita prawda. Od któregoż czasu niezgodność zdań znaczy krzywdę? Kto chce obrazić, ten nie zabiera się do usprawiedliwienia. Im dluzsze jest memorandum ksiązeczka Gorczakowa, (a dluzsze z e nieznaczy z a w i l s z e), tѣm ta sama dlugosc służy za większy dowód, że zamiar najmniejszego ubliżenia Anglii, Austrii i Francji nie wchodził w myśl rossyjskiego gabinetu.

„Cały więc spór o krzywdzie, poniżeniu i wstydzie powinien być usunęty. A wówczas cóż pozostanie? Pozostaną depesze pana Droun de Lhuys, które w archiwach dolężą się do depeszy pana Guizot i depesze lorda Russella przyłączając się do depeszy lorda Palmerstona, na mogile Austrii. Czegoż to wszystko dowodzi? Oto, że w początku lepiej było, zamiast toczenia dyplomatycznej polemiki, posłać natychmiast do Petersburga, zważając na stanowisko, jakie chciał rząd francuzki zająć, albo ksiązeczka Napoleona, który tak cudownie umiał zakończyć w Berlinie drażliwy spór nieszatelski, albo ksiązeczka Morny, który doścignąłby tegoż celu tylko inną może wprost przeciwną drogą.

„Należy być zawsze skrupym na depesze i noty. Ludzie, silni w dyplomatycznych tematach, są bardzo podobni do szamfortowskiego \*) samoluba, który gotów był dom zapalić dla ugotowania sobie dwóch jaj. Gotowi są oni pokłócić dwa najprzyjaźniejsze państwa, dla obrony zaszczytu swojej depeszy; noty, memorandum, manifestu, ultimatu, ultimatissimu.... O Moljerze!

„Wyłożone przez nas teraz zdanie nie jest naszą tylko własnością; tak samo myśli i mąż, który długo piastował dostojność posła francuzkiego w Londynie.

„Podobna jest do prawdy, że Rossja, passując się teraz z ważnemi i różnorodnemi wewnętrznemi trudnościami, że CESARZ ALEKSANDR II tѣnacy wyzwoleńcami zamiarami nieustępującymi w niczѣm zamiarom Franciszka-Józefa; prawdopodobna, że usmierzenia Polski, rząd ros-

syjski więciej niż każdy inny pragnie, że wybrawszy na to margrabie Wielopolskiego mógł się omylić, ale omylił się w największej szczeroci ducha. Jeśli nieoceniono tych ważnych wewnętrznych trudności, tych oczywiscie dobrych zamiarów, tych niezaprzeczonych dogodności; jeśli przyparło Rossję do muru i oddano pod sąd Europy, jest to bład, którego nie niewymawia, a którego inaczej wytłumaczyć nie można, tylko uniesieniem polemiki w kształcie depeszy, zamiast zostawienia jej w kształcie artykułów dziennikarskich. Wszakże kaźden bład przyznany, już jest na pół naprawiony. Francja tѣm łatwiej przyznać się do tego błędu może, że popełniła go wspólnie z Anglią i Austrią.

„Daleko jest lepiej przyznać się; przyznać się jawnie, jasno daleko jest przyzwolciej, niżeli otoczyć się mglistą frazeologią dziennika Pa y s, której pod względem wykwintnego smaku, nawet *Constitutionnel* nie naśladować. Winszujemy mu tego. Dyplomacja skończyła swoje pracę. Teraz cywilizacja dalej prowadzić ją powinna i otrzymać od Rossji dla Polski, jeżeli nie udzielnosc to przynajmniej swobodę, i cywilizacja ją otrzyma!“ (Głos)

**Wiadomości polskie.** Z Warszawy do „Nowej Pruskiej gaz.“ z 26 d. września piszą: Rewizje po klasztorach nie ustają, ta okolicznosc niepewinna zadziwiać tych, kto na mocy osobistego przeświadczenia się mógł się przekonać o związku istniejącym między rewolucją i polskim duchowieństwem katolickim w ogólnosci, a szczególnie w tendencjach rewolucyjnych tego duchowieństwa, które należy do klasztorów i stanu zakonnego. Oddawna już podejrzewano istnienie tajemnych drukarni po klasztorach. Rewizje zmusiły umilknąć prasę rewolucyjną i prócz tego miały jeszcze inne następstwa. Jak slychać, w czasie rewizji były odkryte nietylko składy broni, lecz i cale laboratoria; rzecz zresztą nie jest jeszcze w zupełności wiadoma, na tѣj zasadzie, że nie sami tylko Polacy milczą z tego powodu, co z ich strony jest bardzo rzeczą naturalną, lecz i rząd rossyjski po większej części zachowuje w tajemnicy rezultaty podobnych odkryć, aż dopóki nie uzna za stosowne oglosić powszechnie fakta, dowiedzione przez śledztwo, jednoczesnie z sądowym wyrokiem winnych.

W klasztorach jest mnóstwo potajemnych miejsc i kryjówek, które bardzo trudno wynaleźć, tak iż rewizje duzo jeszcze zajmą czasu. Same tylko podziemne przejścia kościoła Ś. Krzyża i należącego do niego klasztoru ciągną się aż do Nowego Świata i Krakowskiego Przedmieścia i podchodzą aż do samego Jerozolimskiego wału miejskiego, po za stację drogi żelaznej. W samém mieście one dochodzą aż do zewnętrznych ścian klasztoru. Powiadają, że te podziemne galerje ciągną się jeszcze dalej i zostają w styczności z powązkowskim cmentarzem katolickim, leżącym przynajmniej o pół mili niemieckiej za miastem. Przedwczoraj na tym cmentarzu, dziecko przypadkiem wskazało sklep, w którym odkryto tajemne biuro pośród zajęć onego i bardzo wiele ważnych dokumentów. Oczywiście, że powstańcom było bardzo dogodnie niepostrzeżenie dostawać się do miasta i wychodzić ztamtąd za pomocą takich przejść, i zarazem jest też bardzo oczywiscie, że rewizje klasztorów i należących do nich budynków — są rzeczą jak najbardziej nieodzowną dla stłumienia powstania. Oburzająca jest rzeczą slyszec gazety niemieckie zagranicze, gdy te polegają tylko na źródłach polskich o rabunkach i okrucieństwach Roszjan, piszą w tonie wcale niezgodnym z prawdą i podżeganiem swém jeszcze bardziej starają się podburzyć ogólną nieprzyjaźń ku Rossji.

Tym sposobem wiadomosc, iż żołnierze rossyjscy nietylko bili kolbami hrabing Zamojska, przy rewizji w jej domu, lecz też zdzierali z niej brylantowe ozdoby, jest zupełnie fałszywą. Hrabina Zamojska wcale w tym domu nie mieszkała; żona hrabiego Andrzeja Zamojskiego, jak wiadomo, umarła w przeszłym roku. Prócz tego, wiadomo, że przed zajęciem domów przez żołnierzy, generał Korf dał pozwolenie damom i w ogóle całej ludności żeńskiej pierwszych piąt skorzystania z dwugodzinnęj zwłoki i wyniesienia wszystkich należących do nich kosztowności i rzeczy które można było przynieść. W ciągu tѣj zwłoki, generał Korf ciągle był obecny. A już po uplywie tego terminu, wszystko, co jeszcze nie zostało wyniesionem uległo zniszczeniu od ognia. Inne piątra były oszczędzone i jeszcze na trzeci dzień mieszkańcy przynosili ztamtąd swe meble.

**OD REDAKCJI.**

Wielu z pp. prenumeratorów znowu udają się do redakcji z prośbą o przysyłanie Kurjera w ostatnim kwartale na kredyt.

Ponieważ obecnie przyjmowanie korespondencji pieniężnych wszędzie jest już ustalone, przeto Redakcja widzi się spowodowaną zawiadomić, iż nie może nadal posyłać Kurjera Wileńskiego, nieotrzymawszy z góry pieniędzy należnych za prenumeratę.

Życzący otrzymywać „Kurjera Wileńskiego“ w ostatnich trzech miesiącach od 1-go października, raczą zawczasu zglosić do redakcji.

Cena za trzy miesiące od 1-go października 1863 do 1-go stycznia 1864:

w wilnie . . . . . 3 rub. sr.  
z przesłaniem . . . . . 3 — 50 kop.  
za jeden miesiąc bez przesylki 1 —

Ponieważ już komunikacje pocztowe w kraju zupełnie są ustalone, przeto redakcja uprasza pp. prenumeratorów, którzy dotychczas otrzymywali gazetę na kredyt, o jak najrychlejsze nadsyłanie pieniędzy należnych.

(\*) Chamfort—francuzski pisateľ XVIII wieku, zaszczytniejszy osobeno swojimi lekimi satyrycznymi pismami.

\*) Chamfort, autor francuzki XVIII wieku odznaczył się szczerogólniejszymi satyrycznymi pismami.

Wiadomości Zagraniczne.

Wilno, 25 września.

POGLĄD OGÓLNY.

Od pewnej liczby lat weszły w Niemczech we zwyczaj zjazdy najrozmaitszego rodzaju. Uczni wszystkich niemal gałęzi wiedzy ludzkiej, gimnasty, śpiewacy, miłośnicy turniejów, członkowie tak zwanych stowarzyszeń narodowych (Nationalvereine), zgromadzają się w umiarkowanych miastach niemieckich, podnoszą nieraz najwznioślejsze przedmioty nauki, albo życia społecznego, lub napawają się rokoszą harmonii, zdumiewają celnością strzału i rozwojem siły i zręczności ciała. Ale jak każda rzecz ludzka ma swoją dobrą i złą stronę, tak i wyżej wymienione zjazdy, zdaje się, że za daleko posunęto, przenosząc je w niższe warstwy społeczne. Owoż i teraz, pod koniec września, odbył się we Frankfurcie nad Menem zjazd rzemieślników niemieckich. Przez naśladownictwo politycznych i naukowych obrad, przyjęty został na tym kongresie tryb, jakiego trzymają się poważniejsze zgromadzenia. Senat wolnego miasta Frankfurtu nie odmówił pozwolenia rzemieślnikom, którzy oświadczyli zamiar odbycia w tej stolicy zjazdu swoich obrad; ale może nie właściwie postąpił, przewidując na miejscu posiedzeń tak zwaną Salę rzymską, w której przed trzema zaledwie tygodniami panujący niemieccy obradowali nad światodziejowym zadaniem reformy Związku. Szanując, jak słuszną, wiele pożyteczny stan rzemieślniczy, senat powinien był przekonać się wprzód o doniosłości zjazdu, o uosobieniu do obrad przedstawicieli; powinien był poznać przedmioty, które rzemieślnicy roztrząsać mieli, aby przez niewczesne pozwolenie na zjazd i przez zastosowanie parlamentarnego porządku, używanego w najwyższych zadaniach społecznych i naukowych, przez nieumiejętność użycia tegoż porządku, przez zmniejszenie do najpospolitszego poziomu form uroczystych, nie spowiewała ich i nie podać w pośmiewisko. Główny przedmiot zjazdu rzemieślników stanowiła myśl uchylecia coraz wzmagającej się zasady wolnego przemysłu i wskrzeszenia odwiecznej instytucji bractw czyli cechów rzemieślniczych. Był czas, kiedy wszystko średniowieczne ganiono; wówczas i cechy stały się przedmiotem potępienia. Rozprzegła się karności między czeladzią rzemieślniczą, pod hasłem swobody przemysłu same rzemiosła upadły poczęły, a przynajmniej partactwo rzemieślnicze zgubiło szczytę się poczęło. Tracił na tym ogół, ale więcej jeszcze rzemieślnicy, a mianowicie tak zwani majstrowie. Owoż nie dziś dopiero

postrzeżono, że instytucja cechów miała swoje przyczynę bytu, że doświadczenie kilku-wiekowe zasiliło ją wielu rozumnie ustawami, i że nie godziło się ważną gałęź zarobkowania, dającą chleb powszedni milionowym ludnościom, puścić samopas pod pieknym godłem wolności przemysłu. Ze majstrowie pragnęli wskrzeszenia praw cechowych, jest rzeczą najprostszą; ale, że najniewłaściwiej poradzili sobie, występując sami jak prawodawcy, o tym najoczywiej przekonano posiedzenia 25 i 26 września odbyte we Frankfurcie. Lepiejby nierównie uczynili, gdyby zasięgnęli rady tyłu znakomitych ekonomistów niemieckich, a nawet zagranicznych; aby uprosili ich zająć się ułożeniem ogólnego kodeksu cechowego, który dojrzałe roztrząsnięty na pojedynczych sejmach, mógł być stać się prawem obowiązującym dla stanu rzemieślniczego we wszystkich jego najrozmaitszych podziałach. Zamiast tego, majstrowie ulegli pokusie zostania prawodawcami i uchwalili zasady, na których prawo rzemieślnicze ma być oparte. Wytyściliśmy je z umysłu dosłownie, dla okazania, jak ci poczciwi ludzie obłąkali się dali miłości własnej; jak pochwytawszy brzmienie słowa i pojedyncze zdania, chcieli nadać uchwałę swojej filozoficznej barwę. Upędzając się za nią i wykrzeszując z powagą, że ekonomicy niemają pojęcia o warunkach życia rzemieślniczego, przedstawili i jednocześnie przyjęli jakąś socjalno-filozoficzną łataninę, na nie nie przydatną i dowodzącą, że ci dziwnego nabożeństwa prawodawcy szadzili, iż tyle tylko jest świata, ile go z okna widzą. Ale gdyby skończyło się tylko na śmieśzności, rzecz byłaby mniej ważną; lecz poruszenie struny rzemieślniczej wywołało z cienia rozgłosnego niegdys socjalistę z roku 1848, Lassalle, który nalegale powstaje jak opiekun klas robotniczych i domaga się od rządów i od ludzi bogatych summy stu milionów talarów, dla dopomożenia tym, których, jak mówi, chce podźwignąć i wyzwolić. Lassalle, poddany pruski, telegrafował z Salingen do pana von Bismarck w przeszłą niedzielę 27 września, żądając o najprędszego dostarczenia wymaganych pieniędzy. Rzecz prosta, że żadnej nie otrzymał odpowiedzi. Dzięki rozumowi ludności, Berlin, Lipsk i inne miasta Niemiec północnych, odrzuciły jego opiekę nad ludem; bo teorie pana Schulze-De-litzsch i banki oszczędności doskonale zrozumiane tam zostały i lud widzi w nich najskuteczniejsze źródło swojego dobrobytu. Lassalle zatem wybrał za widownię swych przemówień prowincję nadrenską i uciekł się jedynym owocem, ja-

ki fałszywe jego nauki wydać mogły, bo krew popłynęła w Elberfeldzie i wzbudzenie doszło tam do najwyższego stopnia. Łatwo było przewidzieć to następstwo w okolicy, w której bawelniczne przesilenie wprawilo tysiące rąk w nieczynność, a wyobraźnię uczyniło pochopną do wszelkiego rodzaju urójów. „Niemcy jak mówi dziennik francuzki petersburski, przywykłe do tego rodzaju turniejów mowczych, nie żałują się tak dalece na tę swawolę i wiedzą, że jest ona nieodstępna towarzyszką wszelkich rozpraw, mogących znamienicie tłumnie zbiegowiska; wiedzą, że rządy czuwają i że przed zdrowym rozsądkiem ludności wkrótce zamilkną i Lassalle i jego socjalistowskie nauki.“ Dla przekonania się o tem, dość będzie przypatrzeć się temu co zaszło d. 27 września w Solingen. Lassalle zwołał na ten dzień zwolenników swoich do gmachu ćwiczeń strzelniczych. Już o godzinie 4-6 zastęp uszykowali się w półkole i otoczyli przewodnika Lassalle. Wnet doniesiono, że ogromne tłumy przybywały z Elberfeld i z Barmen do Solingen. Rzeczywiście ukazał się orszak postępujący poważnie, a na jego czele powiewała ogromna chorągiew czarno-czerwono-żółta. Zwolennicy Lassalle powitali ją najwyższymi okrzykami. Nowoprzybyli napełnili cały gmach strzelniczy. Zrazdło to nieco, że dwaj policyjni agenci stanęli tuż za Lassallem. Któryś z rzemieślników zagaił posiedzenie; wybrano natchmiast na prezesa jakiegoś pana Hillmann z Elberfeldu. Zajął on krzesło i obwołał, że prawem świata powinno być gminowładztwo społeczne, ustąpił je wielce uwielbianemu przez siebie obywatelowi Lassalle. W zabrany głosie trybun usiłował zmżyć z siebie zarzut, że jest słabym reakcją. W szumnych wyrazach odzworował stan rzemieślników, dla których od lat 15-tu i walczy i cierpi. Następnie uderzył na dziennikarstwo i ogłosił je za najskuteczniejsze; był w najwłaściwszych wyrazach na przedstawicielstwo narodowe. Nie łatwo było mówcy zjednać postuch swojemu głosowi; bo już od początku zgromadzenie burwiło się poczęło i mimo wszelkie usiłowania przydującego, wrzawa ciągle się wzmagala. Ale doszła ona do najwyższego stopnia, kiedy Lassalle rozkazującym głosem zalecił, aby wicherzycielów wypchnięto za drzwi i kiedy oświadczył, że więcej niż tysiąc krzepkich rąk czeka na pierwsze jego skinienie. Tymczasem prezes posiedzenia Hillmann posłał do niższej części sali, skąd zdawały się przerywania być najczęstsze, kilku ze swoich wiernych, aby wypchnąć wicherzy-

cieli. Przy spełnieniu tego rozkazu powstał straszliwy okrzyk, co gdy jedyny zandarm obecny na posiedzeniu spostrzegł, natychmiast ogłosił je za zamknięte i to właśnie w chwili, gdy Lassalle piorunował. Część zgromadzenia wychodzić poczęła. Gdy to dzieje się w niższej części sali, zwolennicy głównego wicherzyciela otoczyli go silnym zastępem, a Lassalle wołał z całej siły, że nikt nie ma prawa przerywać zgromadzenia, ale wśród hałasu niepodobna było zrozumieć ani jednego słowa. Dwaj agenci policyjni, ujrzawszy, że nie położyła końca zgorszeniu, zażądali siły zbrojnej. Rzeczywiście 8-miu zandarmów, oddział pachołków policyjnych, przyprawionych przez radę ziemskiego i burmistrza, przybył. Mieszkańcy zbiegli się gromadnie przed gmach strzelniczy i powitali zwierzchność grzmiącymi oklaskami. Zandarmowie bagnietami uderowali sobie drogę do biura prezesa; Lassalle wezwany, aby ze swoimi zwolennikami opuścił salę, wyszedł pod zastoną policji, a lud miotał nań przekleństwa. Nie ujdzie mu to zapewne bezkarnie. Uwiadomiliśmy w przeszłym Pogładzie, że hr. Eulenburg zapowiedział urzędnikom swego wydziału nadzieję skuteczną z ich strony pomocy ministrowi podczas wyborów poselskich; minister narodowego oświecenia dnia 2-go października w takimże zaleceniu okólnym, wezwał nauczycieli wszelkiego stopnia do podobnego zachowania się. Zdawało się ministrowi być to tem bardziej na dobie, że w roku przeszłym uniwersytety pruskie, a na ich czele berliński, zaprotestowały przeciw okólnikowi, wzywającemu ich tylko do zachowania się biernego w rzeczy wyborów. Zresztą w Prusach dosyć jest spokoju. Wybory jeszcze się nie rozpoczęły; po ich ukończeniu dopiero da się przewidzieć, pod jaką chorągwią działać będzie izba przedstawicielska. Może w żadnej sprawie dyplomacja europejska nie miała tyle do pisania, jak w sporze niemiecko-duńskim. Ciągłe wyrzają się na jaw nowe noty; hrabia Russell przesłał depeszę sejmowi związkowemu, doradzając umiarkowanie; ale rząd duński zdaje się co chwila dawać powody do uzasadnionych zażaleń. Wiadomo, że sejm został otwarty w Kopenhadze d. 22 września; że złożonego sprawozdania ministra skarbu okazało się, że przychody i wydatki księstwa holenderskiego wielone zostały do ogólnego budżetu państwa, co jest przeciwne zobowiązaniu przez koronę duńską przyjętym względem Związku; że co gorsza, summa blisko 600,000 talarów wzięta została z podskarbstwa holenderskiego, bez dołożenia się stanów tego księstwa na

ogólne potrzeby królestwa. Sejm frankfurcki znowu zaprotestuje; postanowienie przymusowe uchwalono już jednomyślnie; ale powszechność tak już przywykła do ciągłych odroczeń w tej sprawie, że nikt nie obawia się, aby do rzeczywistego wkroczenia wojsk niemieckich w granice księstw nadelbianskich przysię miało. We Francji wszyskie ważniejsze czynności rządowe zdają się być wstrzymane do powrotu cesarza z Biarritz. Baron Gross wrócił do Londynu; Monitor powszechny milczy, przynajmniej do 30 września włącznie, o mianowaniu jego następcą hrabiego Walewskiego. W Anglii zwróciła uwagę piękna mowa hrabiego Russell, którą wyrecytował na uczcie danej na cześć jego w Blairgowrie w Szkocji. W krótkie zapewne dzienniki francuzkie roztrząsaną ją, ocenią i pochwalami ośypią, albo obelgami obrzucą. Jeżeli miejsce nam pozwoli, postaramy się oznajomić z tą mową naszych czytelników; bo pod względem politycznego poglądu, głos lorda Russell zasługuje bez wątpienia na najbardziej uwagę. Ale, jeżeli wieść doniesiona przez telegraf z Indji wschodnich sprawdzić się miała, znowu grożą Anglii ogromne kłopoty. Piszą z Kalkuty 4 września, że w Kabulu zebrali się 20,000 zbrojnych, liczących w swoich szeregach wielką liczbę sipajów, czyli Indjanów rodem, wyćwiczonych w służbie angielskiej, i że ta siła, stosunkowo bardzo znaczna, wargnęła w posiadłości angielskie. Rząd postanowił w grudniu zgromadzić w Lahore 12 tysięcy prawdziwego wojska, a wielkorządca wezwał rajahów kaszemirskich i synów Dost-Mohameda, aby do niego przybyli. Z drugiej strony niemniej smutna wieść nadeszła z Kawnpure, że człowiek tam schwytyany, o którym przed miesiącem daliśmy obszernie szczegóły, nie jest Nana-Sahibem. Być więc może, że ten straszny dla Anglików wicherzyciel zamysła o nowem powstaniu. Nie zachwieje ono wcale potęgę angielskiej na tym dalekim lądzie; ale spustoszenia, które za sobą pociągnie, boleśnie uczuć się dadzą skarbowi indyjskiemu, którzy świeżo z cudowną prawie umiejętnością do równowagi doprowadzony został. Z innych stron Azji oznajmują, że major amerykański Burgewine z 500 strażniami, po większej części spółzimiokami swoimi, przeszedł do powstańców chińskich, lubo dotąd służył cesarzowi; ale skłóciwszy się z mandarynami złał dobrowolnie przyjęte zobowiązanie i od głównego herca buntowników, przyjął stopień wanga, czyli generała. Podług depeszy otrzymanej z wyspy s-

**Bob-Rock.**  
przez  
KAROLA SEELSFELDA.  
(Dalszy ciąg ob.N 108).  
Jechałem tak kilka godzin. Czasem zatrzymywałem się, żeby posłuchać czy kto nie wystrzelił lub może nie krzyknął. Cichość panowała dokoła. Nowe wca-  
le niespodziane postrzeżenie powiększyło mój niepokój. Tam, kędsy z domu wyjeżdżali, trawa była gęstsza i mniej było kwiatów, łąka zaś, którą teraz jechałem, była raczej kwiatowym ogrodem, tak, że ziemi widać nie było. Niemożna sobie wyobrazić jak piękny i cudny był ten różnokolorowy kobieriec.  
Miliony najpiękniejszych kwiatów polnych, tuberozy, georginie, astry, pokrywały łąkę. Wspanialszych i piękniejszych kwiatów nie mógł mieć żaden botaniczny ogród na kuli ziemskiej. Mustang mój ledwie mógł brnąć wśród tego morza kwiatów. Zdziwiony, stanąłem na chwilę przed wspaniałym widokiem. Zdawało mi się, że gdzieś w głębi jest wiele tęczy wiszących nad łąką i drzących jedna nad drugą. Ale uczucie moje wcale nie było radosne; doznawałem trwogi, która wkrótce miała mną całym owładnąć. Przejeżdżając znowu koło jednej wyspy, postrzegłem nagle krajobraz, tak wspaniały i przewyższający wszystko com dotąd widział, w tej krajnie cudów, że dziś niezdolny będę wam to opisać.  
Wprost przedemną jasno błyszczała gesta, ogromna massa—pagórek, góra, z błyszczącego czystego srebra! Słońce tylko co wychodziło z za chmur i kiedy ukośnie jego promienie oświeciły to niezwykłe zjawisko, stanąłem ostupały ze zdziwienia i patrzyłem nieruchomie, ogarnięty jakąś trwogą. Ale gdyby mnie ofiarowywano wszystkie skarby świata, nie byłbym w stanie objąć i opisać to nadzwyczajne i niepojęte zjawisko. Zjawisko to jaśniało jak srebrny pagórek, to jak zamek z wieżami, to się znowu wznosiło jak czarodziejski kolos, ale zjawiało się ciągle jakby z czystego srebra i było wspaniałe nad wszelki wyraz.  
Co by to było takiego? W życiu mojem nie podobnego nie widziałem! Widok ten mnie trwożył. Mimowoli prze-

biegła myśl, że to dzieło szatańskiej siły, że jestem na zaczarowanej ziemi i że ze mnie szydzi zły duch. Teraz niebyleż wątpliwości, żem zbłądził i trafił w jakieś nieznane nowe strony. Straszna prawda zalała mnie potokiem smutnych myśli: wszystko com slyszal o tych, którzy zbłądzili i zginęli bez śladu, żywo się wyobraziły mojej przedstawilo, tem bardziej, że to wcale nie były bajki, ale opowiadania ludzi godnych zaufania. Przypomniałem wówczas, że mię za każdym razem najmocniej uprzedzano, ażebym udając się na łąki brał z sobą zawsze kompas i przewodnika. Upewniano mię, że nawet miejscowi mieszkańcy nigdy się sami jedni w taką podróż nie puszczają, ponieważ zbłąkany, niewidzący nie przed sobą optócz niedojrzanej okiem równiny, pozbawiony jest możności odkrycia drogi. Całe dni i tygodnie można błąkać się wśród oceanu łąk, w tym labiryncie wysp, nie znajdując żadnego wyjścia. Ma się rozumieć, że latem i w jesieni nie tak jest niebezpiecznie zbłąkać się, gdyż wówczas na wyspach znaleźć można w obfitości owoce i przez to uniknąć głodnej śmierci. Wówczas wszędzie pełno doskonałych winogron, śliwek, brzoskwiń. Ale teraz tylko co nadeszła wiosna. Znajdowałem wprawdzie na wyspach winne latoście, brzoskwinie i inne drzewa owocowe, ale teraz owoce ich były jeszcze niedojrzałe.  
Widziałem też wiele zwierzyny, ale nie mając broni, mogłem siebie uważać za skazanego na głodną śmierć, wśród najbogatszego kraju na kuli ziemskiej. Okropna ta myśl nie owładnęła mną jednak w takim porządku jak tu opisuję. Myśl ta była dla mnie niejasną, okropną, a razem jak błyskawica przenikała mózg i skoro mi stawała przed oczy, za każdym razem czułem jakby ostrze noża, które mnie sprawiało ból nieznośny.  
— To musi być stan okropny — rzekł półkownik Ellie.  
— Później myśli moje przybrały charakter bardziej pocieszający. Wszak już cztery tygodnie jestem w tym kraju — mówiłem do siebie — wszak zwiędziłem go we wszystkich kierunkach i prawie zawsze jeździłem łąkami. Ale nie pomyślałem przytęm, że cały ten kraj jest tylko pustynią łąk. A przytęm miałem zawsze z sobą kompas i przewodnika. I oto dla czego, nie myśląc o niebezpieczeń-

stwie, nie słuchając rad i ostrzeżeń, tak nierozważnie popędziłem za tym potworem, zapominając, że czterech tygodni za mało, ażeby poznać okolicę mającą 20 mil obszaru, a tem bardziej poznać kraj, który trzy razy jest większym od Stanu New-Yorskiego. Ale jeszcze się ciągle pocieszałem. Nie miałem jeszcze jasnego pojęcia o obecnem niebezpieczeństwie. Charakter sangwiniczny u poroczywie odpychał wszelkie myśli o niebezpieczeństwie, jakie mnie zagrażało. Sądziłem, że to jest niepodobniestwem zbłądzić we cztery godziny tak, ażeby mnie nie mógł dopędzić pan Nill, lub murzyni jego, jadąc po śladach moich. Słońce kryjące się w tej chwili za chmurkę i wyspy owiało mnie spokojem. Dziwny rodzaj pocieszenia się! Wychowany w rodzinnem kółku i od dzieciństwa przyzwyczajony do ścisłości i porządku we wszystkiem, sądziłem, że naturalniejszą a nawet niezbędną jest rzeczą nocować w domu lub przynajmniej pod dachem. Tak do tego przywykłem, iż zdawało mi się, że niepodobna jest przepędzić noc pod gołem niebem. Myśl o bliższym schronieniu tak mną owładnęła, że mimowoli spiął ostrogą konia, będąc pewnym, że natychmiast z za mgły ukaże się przedemną dom pana Nilla i w oknach zabłyśnie światelka. Co chwila sądziłem, że usłyszę szczykanie psów, ryczenie bydła, śmiech dzieci. I w rzeczy samej, nagle postrzegłem przed sobą dom. W wyobraźni mojej jasno odmalował się oświecony bawialny pokój. Pojechałem prędzej. I kiedy się zbliżyłem do mniemanego domu, postrzegłem znowu wyspę. To com brał za ogień, były świecące się robaczki. Pierwiej jaśniały one grupami w cieniu wyspy a teraz kiedy nastąpiła ciemność, niebieskawe ogniki ich zaczęły migotać z wszystkich stron, nawet i na otaczającej mnie łące. Światło to w krótkie zalało cały obszar i sądziłem, że jestem wśród morza ogni bengalskich. Trudno przedstawić sobie coś bardziej upajającego jak ta wycieczka, w ciemną noc marcową, po tych nieskończonych łąkach. Nademną ciemne sklepienie nieba, mirjady jaśniejących gwiazd, u nóg zaś moich ocean magicznego światła od milionów robaczek! Byłem jakby w nowym zaczarowanym świecie, mogłem odróżnić każdą trawę, każdy kwiatek, każde drzewko, ale wszy-

stko to widziałem w naturalnym świetle. Polne róże, tuberozy, georginie, astry, geranie i wiwne latoście ożyły, zaczęły się poruszać, skupiać się w zastępy. Wszystkie rośliny i kwiaty zaczęły okolo mnie kręcić się w fantastycznym tańcu. W tem nagle z tego morza ognistego doleciał do mnie przeciągły dźwięk. Stanąłem przysłuchując się. Zmieszany oglądałem się dokoła, ale nie już nie słysząc. Jadę dalej. Znowu dały się słyszeć te same przeciągłe dźwięki, tylko tym razem jakoś smutniejsze. Zatrzymałem się zdziwiony, znowu przysłuchując się — cisza grobowa; jadę więc dalej. Ale oto po raz trzeci dały się słyszeć te ponure dźwięki, był to głos wiporwila (ca-primulgus virginensis) który nucił swą piosnkę nocną na jednej z wysp. Kiedy nareszcie wśród nocej ciszy rozległ się jego smutny śpiew, odpowiedziała mu katidida (słowik). O! jakże byłem zachwycony, kiedy m poslyszal nocnych śpiewaków mej ojezyny. W téjże chwili w wyobraźni mojej stanął domek rodzinny, chatki murzynów, plantacje ojca mojego, szemranie i plusk rzeki, płynącej koło chatki murzynów naszych. Tak się oddałem temu omamieniu uczuć, czyli raczej tak się pograżyłem w tém marzeniu, że popędziłem konia, najpewniejszy, że przedemną stoi dom ojca. A przytęm wyspa, skąd się rozlegał śpiew nocny w magicznem świetle, tak była podobną do gajku otaczającego domek ojca mego, że po półgodzinnej jeździe zatrzymałem się, zlałem z mustanga i zwołałem Charona Tomi. Charon Tomi był przewoźnikiem, a tak klasycznie jako ochrzciłem. Rzeczka, która przez plantacje ojca przepływa, dość jest głęboka i zaledwie parę razy do roku można ją przebyć w bród. Zawolałem raz drugi, trzeci, czwarty, napróżno, nie było odpowiedzi. Wołałem jeszcze razy kilka. Nareszcie obudziłem się.  
Słodki sen! męczące przebudzenie! Trudno opisać uczucia, które mną owładnęły! Wszystko mię dośilo, zgubiłem wpływalo na jestestwo moje, mózg zdawało się, że się przewraca w mej głowie, głowa kręciła się na moich ramionach. Jeszcze nie byłem do takiego stopnia wycieńczony znuzeniem, głodem i pragnieniem, ażebym mógł czuć brak sił, ale niebezpieczeństwo, trwoga, cudowne i nadzwyczajne zjawiska mię o-

durzyły, a w głowie zaczęło mi się tak kręcić, że m zataczał się jak pjany. Pozbawiony możności myślenia, stałem z utkwionym wzrokiem w ten niebieski ognisty świat. Jak długo tak stałem — nie wiem. Nakoniec zrobiłem to, co zwykle czynią inni, jakem to zauważył przez ciąg mego czterotgodniowego tam pobytu. Wziąłem scyzoryk, który na szczęście miałem przy sobie, wykopałem w ziemi jamkę, położyłem do niej koniec mego lasso, zdeptałem znowu jamkę, złożyłem drugi koniec z petlą na szyję mustanga, zdjąłem z niego siodło i udeciłkę — i puściłem go na paszę a sam położyłem się z boku. Sposób przywiązywania mustangów wyda się wam dziwnym, jednak on jest możliwym i wygodnym w kraju, gdzie na pięćdziesiąt mil wokoło nie widać domu, a na dwadzieścia pięć ani krzaku, ani drzewa.  
Ale zasnąć nie mogłem. Ze wszystkich stron dało się słyszeć wycie. Było to wycie wilków i kangarów. Podobnego rodzaju muzyka nigdzie i nikomu nie może sprawić przyjemności, tutaj zaś wśród tego ognistego oceanu, zagadkowo czarującego świata, wycie to wydało mi się tak straszne, że przenikało aż do szpiku kości. Lękałem się postradać zmysły. Wszystkie nerwy moje były okropnie rozdrażnione i nie wiem na częmy się to skończyło, gdybym nie przypomniał, że mam przy sobie cygarnicę i zwitek Wirginji duleissimae, nieoceniony skarb w tej chwili. Wkrótce uspokoiłem się trochę.  
Przyśpiałem, że gdyby pan Walter nie wyświadczył innej przysługi społeczeństwu, to sam ten wynalazek nadawał by mu prawo do godności opiekuna młodzieńców szukających przygód. Kilka dobrych hawańskich cygar tak mię upoiło, że m nakomec zasnął.  
W tem miejscu słuchacze odetchnęli, jak gdyby im ciężar spadł z serca. W rzeczy samej w opowiadaniu tem było coś takiego, co nawet mogło zmieszać i zatrwożyć plantatorów, którzy nie przez jedno doświadczenie przeszli w życie.  
Półkownik wypróżnił szklankę i mówił dalej.  
(Dalszy ciąg nastąpi.)

Tomasza, a wysłanej 6 września, marszałek Forey i hr. Dubois de Saligny opuścili Meksyk i generał Bazaine objął dowództwo nad wojskami. Wyprawa przeciw Juarezowi, który w San Luis de Potosi zgromadza siły dla stawienia oporu Francuzom, odłożona została, aż dopóki niemienie pora dżdżysta. Taż depesza dodaje, że wywoz brzączących pieniędzy znowu został zakazany ze wszystkich portów zajętych przez Francuzów.

Nakoniec depesza z d. 28 września, wysłana z Lizbony o pół do 2-jej, zwiastuje radośną nowinę: że młoda królowa portugalska, córka Wiktora-Emmanuela, Marja-Pija, szczęśliwie powiła syna.

Parlament Joński, zwołany dla wyrażenia, czy wyspy znajdujące się dotąd pod orędnictwem Anglii pragną połączyć się z królestwem greckim, został otwarty dnia 1-go października, wśród największego zapędu ludu. Król Jerzy I, który d. 28 września przybył wieczorem do Frankfurtu i wnet wyjechał do Rumpenheim, gdzie kilka dni na łonie rodzinny przepędził, ma zamiar, skoro go wieść dojdzie o wypadku głosowania na sejmie korfiotkim, odpłynąć do tej nowej części państw swoich, z Tulonu d. 15 października.

**Francaja.**

Paryż, 20 września. Deputacja meksykańska opuści stolicę francuską pojutrze, w niedzielę dnia 27. Uda się prosto do zamku Miramare, a stamtąd dopiero do Wiednia, gdzie cesarz Franciszek-Józef udzielił jej uroczyste posłuchanie. W powrocie z Wiednia, w październiku cesarz i cesarzowa Francuzów przyjmą ją w Compiègne.

Posłowie francuzcy przy dworach obcych zaczynają powoli wracać na swe posady. Tak książę de Gramont, ambasador w Austrii, po skorzystaniu z udzielonego mu pozwolenia przybył do Francji, pośpieszył znowu do Wiednia i objął swe urządowanie, w którym zastępował go hr. de Mosbourg. Podobnie kawaler de Saint-Georges, nadzwyczajny poseł i pełnomocny minister francuzki w Brazylji, który od niejakiego czasu znajdował się we Francji, za pozwoleniem swojego rządu, wkrótce odpłynie na swoje stanowisko.

Paryż, 26 września. Różne oddziały wojska ściągają do Cherbourg i zawczoraj we środę dnia 23 zabrał je przewozy statek Saona, dla wysadzenia w porcie Vera-Cruz. Po mieście żołnierze wnet połączą się z pótkami, do których należą.

Diennik Gonic Niedzielny pisze: Ważne zmiany nastąpią, wkrótce w składzie ambasady francuzkiej w Londynie. Baron Gros ma znowu zasiąść swoje krzesło w senacie, miejsce zaś jego przy dworze angielskim zajmie albo książę de Persigny, albo hr. Walewski.

Z tego powodu diennik France mowie: „Niewiemy, czy ta wieść jest prawdziwą, niewiemy nawet, czy hr. Walewski uzna za przyzwoite przyjąć to wysokie posłannictwo. To tylko pewna, że pobyt w Londynie byłego ministra stał, który w społeczeństwie angielskim zostawił tak głębokie wspomnienia, byłby przyjęty z żywym współczuciem i że powrót do czynnego politycznego zawodu hr. Walewskiego, odpowiadając życzeniom wszystkich światłych zwolenników cesarza, w niczem nie wpłynąłby, wśród dzisiejszych okoliczności, na zmianę mądrego i umiarkowanego kierunku rzeczy!” Poseł włoski przy dworze francuzkim pan Nigra, który wyjechał z Paryża dnia 22 września wieczorem, przybył już do Turynu.

Posłowie annamicki zwiędali dnia 24 września ogród aklimatyzacyjny w gaju bulońskim. Między osobami składającymi poselstwo, trzy mówią po francuzku, a mianowicie Petrus - Truongwink-Ky, młody człowiek 25 lat, bardzo uczony, mówi siedmiu żyjącymi językami.

Ci cudzoziemcy najbardziej podziwiają w Paryżu przystość ulic, wielkość i piękność domów i panującą wszędzie czystość.

Z drugiej strony znajdują, że drzewa lasów i ogrodów francuzkich są małe, karłowate i chorobliwe, w porównaniu z bujną roślinnością ich kraju, gdzie ziemia rozegrzana ogniem słońcem, skrapiana jest ciągle tysiącami strumieni, rzek i kanałów. Cesarstwo annamickie, którego powierzchnia jest nieco większą od Francji, leży między Chinami i Indostanem. Ludność nie jest dokładnie wiadoma; przez przybliżenie ma przechodzić 12 milionów.

Zauważano podczas posłuchania udzielonego ambasadorom annamickim przez pana Drouyna de Lhuysa, że trzymali w ręku małą białą laseczkę, dysząc pod względem rozmiarów podobną do tej, jakiej zwykli używać dyrektorowie orkiestry. Przeznaczenie tej laseczki jest dosyć szczególne.

W cesarstwie annamickim nie wolno jest pisać na oblicze panującego, ministrowie więc dla tego ściślej spełnienia tego zakazu, opatrzą się w te małe narzędzia i przez cały czas posłuchania trzymają na nich wlepione oczy.

Podług Annamitów, strój europejski jest nieprzyzwoity i obrażający obywatelność. — Diennik Independance Belge, otrzymał następujący list z Paryża pisany dnia 26 września.

Odwolanie barona Gros, które zdawało się być nieuchronnym wczoraj, dziś, jak mówią, zostało odroczone. Opuści on za swoje miejsce, bo stan zdrowia niepozwała mu dłużej mieszkać w Londynie, ale cesarz dotąd nie wybrał jeszcze dlań następcy. Mianowanie hr. Walewskiego, słusznie czy niesłusznie, mogłoby mieć znaczenie wojownicze i być źle widziane przez rząd angielski, którego postanowienia nie stosują się bynajmniej do samopas bijącego dziennikarstwa. W żadnym przypadku, ta zmiana nastąpić nie może przed przybyciem cesarza do Compiègne.

Rozbiegły się wieści o zmianach gabinetowych, szczególnie zaś, że p. Drouyn de Lhuys złoży swój urząd; utrzymują, że i inne zmiany są możliwe i że cesarz zgalił się w Tarbes, gdy odwiedził pana Fould. Jeżeli tak jest, te zmiany niemogą mieć nic zatrważającego, bo wiadomo, że minister skarbu jest gorącym zwolennikiem pokoju.

Podług ostatnich wiadomości z Rzymu, niezgoda między księdzem de Merode a hrabią de Montebello, w skutek roszczenia objawionego przez dowódcę załogi francuzkiej wzięcia pod swe rozkazy wojsk papieskich, końcem zapewnienia jedności działań wojennych, jakie mogłyby być wywołane przez okoliczności, coraz się zmagają. Rząd papieski zupełnie odrzuca to roszczenie.

Arcy-biskup awignoński znajduje się w niebezpieczeństwie życia. Eskadra statków pancernych zebranych w porcie szersburgskim wypłynie jutro na 12 dni, na pełne morze. Dla przecięcia drogi wszelkim domysłom, eskadra, zamiast udania się na brzegi Anglii, popłynie pod Hiszpanję.

Wszystkie pogłoski o podróży księżki de Morny do Neapolu nagle upadły, bo wynikły z niedosłyszania. Książę wybierał się do majętności swojej w departamencie Puy-de-Dome zwaney Nade, komuś zdało się, że usłyszał Napoleona. Pochwyliły to dzienniki, a stąd bez końca wniosków.

Czytamy w dzienniku Parys dnia 26-go września wczoraj:

„Na giełdzie rozbiegła się dzisiaj wieść, że p. Drouyn de Lhuys złożył urząd. Ta wieść jest zupełnie bezasadna. Nakoniec usłyszał zupełnie wieści o odwołaniu barona Gros; znajduje się on wprawdzie w Paryżu, ale wraca jutro na swe stanowisko.

Książę Napoleon ma jutro odpłynąć do Londynu, lecz ta wycieczka niema nic politycznego.

**Prusy.**

Berlin 25 września. Północnoniemiecka powszechna Gazeta umieściła tekst sprawozdania ministrów pruskich, złożonego królowi w przedmiocie reformy związkowej niemieckiej. Podajemy to ważne pismo w dosłownym przekładzie:

„Stosownie do najwyższego rozkazu w. kr. mości, ministrowie mają zaszczyt przedstawić następujące sprawozdanie w rzeczy reformy związkowej podniesionej przez rząd cesarsko-austriacki.

Pierwszy popęd do rozwoju konstytucji związkowej, odpowiadającego potrzebom narodowej, dany był przez Prusy, nim wyruszył się jeszcze wypadki 1848-go. Stanowczo doświadczenia, jakie były ich owocem, nie zmniejszyły ani w panujących, ani w narodzie żądzy zaspokojenia prawowitych wymagań ulepszenia istniejących ustanowień; ale dały lepiej poznać trudności i dostarczyły zbawienych przestrog nakazujących ogledność w tak ważnym zadaniu. Nauczyły też, jak byłoby zdrożnie ponizac dobre w tej mierze w jakiej istnieje i podkopywać ufność w ustanowieniach istniejących, lub choćby nawet narażać je na zachwianie, nimby ulepszenia mogły być jasno ujrane. W skutek tych uwag zdało się w. kr. mości, że w chwilach szczególniej przekonujących każdego członka Związku o ważności bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, które dotąd tenże Związek przedstawiał, żądane reformy niemogą być inaczej dokonywane jak najpilniej przestrzegając, w obecnych istniejących rozmiarach, jedności i ufności w rękojmię dostarczane przez traktaty związkowe. Widzieliśmy z papierów złożonych nam przez ministra spraw zagranicznych, że inni nie zachowali takiej samej ogledności i że zażądali zmiany konstytucji związkowej, z pobudek, których wykład musiałby głęboko wstrząsnąć ufność w dobroć i trwałość traktatów związkowych, oraz wywołać względem nich wątpliwości, które dziś jeszcze czekają na swoje zabicie.

Byłoby nierównie pożądanym, aby rokowania o ulepszenie i utrwalenie tak zachwianych stosunków, skierowano na drogi dozwolające widzieć z największą możliwą pewnością zadawalające rozwiązania.

Bez wątpienia droga zgody między Prusami i Austrią, co do zasad mających się uczynić przelozon, była najbardziej na dobre i gabinet cesarsko-austriacki mógł być pewnym przyjacielskiego jej przyjęcia ze strony n. pana. Zamiast tego, Austrija wypracowała akt reformy przedstawiony później we Frankfurcie i udzieliła w. kr. mości pod dnem 3-m sierpnia, wiadomość w treści tak niezupełną, iż niepodobna było oprzeć na niej sądu o doniosłości przelozon. Fiształ tylko, w jakim rokuwać chciano, jasno był wskazany i wówczas już natęgnął w. kr. mości sprawiedliwe zarzuty, które wyrziliście w liście swoim z d. 4 sierpnia, pisanym do n. cesarza austriackiego, przeciw roztrząsaniu projektu na mającej się przedko zwołać konferencji panujących.

Ani kilkuninowe nieprzygotowanie roztrząsania, ani najszlachetniejsza osobista wola panujących, nie mogły doprowadzić do szczęśliwego końca dzieła, którego trudności nie polegają jedynie na osobistej różnicy mniemań, ale zawisły od głęboko wkorzenionych okoliczności w przyrodzeniu narodu niemieckiego, a które objawiały się od wieków, lubo zawsze pod rozmaitemi kształtami.

Niemieci wszakże, w. kr. mości wyraził gotowość dla dobra tak wielkiego dzieła przystąpić do tej próby uczynionej nawet bez uczestnictwa Prus i żądał tylko odroczenia do 1-go października doradzanego zjazdu panujących, to jest żądał zwłoki, którą czyniły potrzebne, nietylko zawady przypadkowe, obce przyczynie wstrzymującej w. kr. mości, ale konieczne przygotowania do tak licznego zjazdu panujących. Jeżeli, mimo tę gotowość w. kr. mości i już gdy nalezyte uzasadniona odmowa znajdowania się 16 sierpnia we Frankfurcie, wiadoma była cesarsko-austriackiemu zostane zostały do wszystkich spólzwiązkowych pod dalem wczesniejszym od dnia udzie-

lonego zawiadomienia w. kr. mości, nie możemy pozbyć się tej myśli, że od samego początku cesarsko-austriacki gabinet zmierzał do tego, aby Prusy usunąć od uczestnictwa we wspólnej pracy, i urzeczywistnienie jednoty opozycynej dawało się widzieć z pierwszego pisma doręzonego w. kr. mości d. 3 sierpnia, na przypadek nieprzystąpienia Prus do przelozon austriackich.

W niniejszej chwili ostatnie przelozenia Austrii nie doszły jeszcze urzędowo do wiadomości rządu królewskiego: ale list pisany do w. kr. mości d. 1 września przez część panujących i przedstawicieli miast wolnych, zebranych we Frankfurcie, uwiadomił o wypadku obrad frankfurckich, warunkowo przyjętych przez tych co ten list podpisali.

W. kr. mości odesłał to pismo do swoich ministrów, spełniając w ten sposób zamiar wyrażony w swój odpowiedzi 28 sierpnia, daney członkom zjazdu panujących, że nie uczynisz żadnego postanowienia, dopóki, po prawidlowym roztrząsaniu sprawy, przez doradców korony, zmiany wprowadzić się mające nie zostaną dojrzałe ocenione, w ich stosunkach z prawidlowym stanowiskiem Prus, jak mocarstwa i prawowitemi dogodnościami narodu. To roztrząsanie wywołało na jaw najważniejsze zarzuty, niedozwalające w. kr. mości przyjęcia tego projektu ani jak królowi pruskiemu, ani jak panującemu niemieckiemu, jeżeli nie zająd w nim zmiany dotyczące się samych podstaw i dające im zupełnie odmienne znaczenie. W obecnym stanie projektu musimy doradzac w. kr. mości, abys odmówił mu swojego najjasniejszego przyzwolenia.

Słabość względna Związku, w porównaniu zbiorowej siły narodu niemieckiego, zależy na trudności utworzenia władzy związkowej centralnej, w taki sposób i nadania jej takich przynależności, aby stała się rzeczywiście potężną i skuteczną, obok zostawienia i szanowania prawowitej niezawisłości rozmaitych państw, dając wgląd na ważność tychże państw w rozmiarach sił właściwie im służących. Ta trudność wypływa z tysiącnoletnich dziejów kraju; niepodobna jej ani przedko ani zupełnie, przy najlepszej nawet woli usunąć. Wzrastac ona koniecznie musi w miarę wkładania na Związek nietylko pierwotnego jego posłannictwa, zasadzającego się na utrzymaniu rękoi mi bezpieczeństwa spólzwiązkowych i ich krajów, ale nadto, do spełnienia tak w polityce zewnętrznej jak domowej celu państwa jednolitego.

Aż do tych więc ostatnich czasów troskliwe unikano, narażać na próbę trwałości (Haltbarkeit) Związku, przez rozszerzenie jego pierwotnych przynależności. Słusznie powtarzano, że zgoda członków najpotężniejszych w celu wspólnych usiłowań, stanowiła niezbędną ośnowę wszelkiego skutecznego działania. Ta wspólność jednak tem trudniejsza jest do ustalenia i do utrzymania, że ani Prusy, ani Austrija nie mogą zupełnie wyzrec się swobody swoich dążeń w polityce europejskiej, według szczególnych potrzeb całosci ludów składających ich monarchię.

Projekt austriacki rozumie, że ta trudność da się rozwiązać przez prosty mechanizm głosowania większości w łonie dyrektorjatu, i przez rozszerzenie przynależności związkowych do tego stopnia, aby polityka każdego z tych dwóch mocarstw miała poddać się polityce Związku, określonej przez jej centralny organ. W teorji to rozwiązanie jest łatwe; ale w praktyce jest niemożliwego zastosowania i już dziś pozwala domyslać się, że w czasie stosunkowo nader krótkim, nowy węzeł związkowy, że użyjemy słów me o r a n d u m cesarsko-austriackiego: „będzie musiał być poczytany za zwalisko prawnego stanu rzeczy, zachwianego w zasadach i któremu pragnienia tylko, aby jego rozszerepane mury, mogły oprzeć się blizkiej burzy, nie zdołają nadac niezbędnęj trwałości.”

Dla odwrócenia tej boleśnej wynikłości, zdaje się nam być nieuchronnym, aby Związek nie krępował swęj właściwej działalności stosunkami polityki europejskiej inaczej, jak za zgodą dwóch wielkich mocarstw: żeby każde z nich posiadało prawo veto, przynajmniej w rzeczy wypowiadających wojny i dopoty, dopóki ziemia Związkuwa nie zostanie napadnięta.

To veto jest niezbędne, nawet dla bezpieczeństwa Niemiec. Bez niego, już jedno, już drugie z wielkich mocarstw byłoby zmuszone ulegac drugiemu wzmocnionemu tylko przez ulegac drugiemu wzmocnionemu tylko przez kilka głosów, a nawet obawa państwa znalazłaby się zniewolonym ulegac większości tych głosów, niemożąc jednak przychylić się do nich według składu rzeczy i wymagań własnego swojego bytu. Niepodobna wyobrazić sobie, żeby podobny stan rzeczy mógł ostać się na długo. Ustanowienia wymagające od Prus lub Austrii rzeczy niemożliwych, to jest, aby służyły widokom dla siebie obcym, noszą same w sobie nasienie rozterki i niezdołają ani być, ani zostac kiedykolwiek trwałymi. Potęga i bezpieczeństwo Niemiec niemogą w żaden sposób polegać na wymaganiu lub narzuconem, a niemożliwym do otrzymania posłuszeństwie jednego państwa drugiemu, ale na ich zupełnej jedności. Wszelki zamach urzeczywistnienia wielkiego politycznego kroku, wbrew woli któregokolwiek z tych państw niemieckich, wywołać natychmiast musi działanie siły i stanu rzeczy i spólzawodnictwa rzeczywiście istniejącego.

Byłoby to pełnem niebezpieczeństwem złudzeniem, gdyby na korzyść pozornej jednoty, Prusy chciały z góry skrepowac swobodę swych postanowień, bo w danym razie niezdołaliby znieść tych więzów.

Rozszerzenie każdego z dwóch państw do jednostajnego veto, jest tém prawowitsze, że moc oparcia się wypowiedzeniu wojny, służy według konstytucji, każdej mniejszości przewyszającej o jeden głos tylko jedną trzecią głosujących (art. 40 aktu ostatecznego wiedeńskiego), i że taka jedna trzecia, skoro żądane z dwóch wielkich mocarstw do niej niędadne z dwóch wielkich mocarstw do niej niędadne, nie może nigdy przedstawiać ludności

krajów związkowych Prus lub Austrii. Cztery królestwa, wielkie księstwo Badeńskie i dwie Hesse, składają całosc jednej trzeciej głosów zupełnych najliczebniejzych pod względem ludności, jakie można złożyć, bez wprowadzenia do nich jednego z dwóch wielkich mocarstw. Te wszystkie państwa posiadają 12,916,000 mieszkańców i 25 głosów w pełnym i c. h. to jest 3 głosy więcej nad jedną trzecią; znajdując się jeszcze w pełnym zbiorze 23 głosy, które razem przedstawiają tylko 2,400,000 mieszkańców a które jednak mogą wystąpić ze swoim veto przy każdym wypowiedzeniu wojny. Czyż Prusy licząc 14,500,000 mieszkańców w Związku, niemialyby posiadać takiegoż prawa.

Lecz nietylko wówczas, kiedy chodzi o wstrzymanie przedsięwzięć, mogących narażić trwałość węzła wspólnego, lecz i wówczas jeszcze, kiedy rzecz idzie o uczestnictwo w prawidlowym działaniu Związku, zdaje się być rzeczą, potrzebną aby formy konstytucji Związkuowej były wyrazem prawdziwego stanu i rzeczywistych faktów.

Prusy nietylko są równymi z Austrią jak mocarstwo niemieckie, ale nawet posiadają większą ludność w Związku. Równość formalna Prus i Austrii, w rozmaitych czasach była przedmiotem rokowań i podczas tworzenia tymczasowej komisji centralno-związkowej, w skutek konwencji 30 września 1849, kiedy dwa wielkie mocarstwa niemieckie wzięły na siebie wykonywanie władzy centralnej związkowej w imieniu wszystkich rządów Związku na stopie doskonałej równości. W obrębach, w których wykonywała się dotąd władza związkowa, prezydencja cesarza, według brzmienia traktatów, dworowi cesarsko-austriackiemu, pod kształtem kierownictwa sprawami sejmu związkowego. Ale jeżeli nowe ustanowienia utworzone i jeśliby przynależności Związku miały być znakomicie rozszerzone i jego organa wezwane do przedstawicieliwa zewnętrznego, wówczas Prusy nie mogłyby przyzwolic na górujące stanowisko Austrii i dopominałyby się o zupełną równość.

Stanie się to tém widoczniejszym, że w projekcie reformy, niechodzą jedynie o błażą formalność, chociaż prezydencja wymieniona jest tam tylko, dla formy kierunku spraw, kiedy przypomni sobie, że nawet według istniejącego trybu, Prusy musiały protestować przeciw nieuzasadnionym przynależnościom prezydencji, \*) która chciała wysnuć z niej ważną polityczną prerogatywę dla Austrii i przedstawiać ją jak wybitny wyraz jedności niemieckiej.

Po tego rodzaju doświadczeniach, rząd pruski nie uczyniłby dozwolenia godziwego dla utrzymania zgody, byłoby to ustępstwo dla Austrii, nie dla Niemiec; lecz popelnilby błąd względem własnego kraju, gdyby wyrzekł się swoich roszczeń do równości, zwłaszcza wówczas, kiedy obręb Związku byłby rozszerzony i gdyby stosunki dyplomatyczne zostawione prezydencji miałyby nabyć rozleglejszą doniosłość.

Doradzając w. kr. mości równość Prus z Austrią, tudzież veto, na wyżej wyłożonych podstawach, jako stanowiących warunki, które uważamy za konieczne do udzielenia naszej zgody na rozwój przynależności Związku i na rozszerzenie doniosłości władz centralnych związkowych, niemogemy utaić przed sobą, że przez to, zadanie pogodzenia sprzecznych widoków dynastycznych, dla ułatwienia jednolitego działania Związku, nie zostanie jeszcze rozwiązane. Rozciąć je większością głosów, przedstawianych w dyrektorjacie, nie zdaje się nam ani sprawiedliwym, ani politycznie zasługującym na przyjęcie.

Tylko w przedstawicielstwie narodu niemieckiego znajduje się prawdziwy pierwiastek, zdolny pogodzić widoki zjednoczenia Niemiec. A więc, aby ustanowienia tegoż przedstawicielstwa uczynić prawdziwie płodnym i tym duchu, nalezy im udzielić przynależności, bliżej odpowiadające temu celowi, niż te, jakie dla nich zastrzegł projekt frankfurcki, i zgromadzenie utworzyć w ten sposób, aby każdy kraj związkowy znalazł się tam przedstawionym, według swojej własności.

Szerokość władzy, nadanej według austriackiego aktu reformy dyrektorjatu, złożonemu z małej liczby głosów, nierównie rozdzielonych ze współdziałaniem, lub bez niego, światła rady związkowej; utworzenie niedostateczne i wcale niebędące w związku z prawdziwym stanowiskiem izby delegowanych doradczych zamiast przedstawicielstwa narodowego, a która już przez sam swój początek powołana jest do przedstawiania potrzeb swoich wyłącznych nie zaś potrzeb niemieckich; dalej, nieokreślona i niepewna moc tego zgromadzenia, zamkniętego w kole przedmiotów względnie podrzędnych; to wszystko nie przedstawia żadnej rękojmi, żeby w nowej organizacji zamierzonego Związku miały być wgląd na prawdziwe potrzeby narodu niemieckiego, nie zaś na pewne osobiste dążenia.

Ministrowie waszjej kr. mości widzą tylko tę rękojmię w prawdziwym przedstawicielstwie narodowem, wychodzącem z prostego uczestnictwa całego narodu. Takie tylko przedstawicielstwo może jedynie nadac Prusom pewność, że jej poświęcenia rzeczywiście pójdą na dobro całych Niemiec. Żadna organizacja władz związkowych, choćby najminsterniej ułożona, nie zdoła usunąć gry potrzeb dynastycznych i potrzeb pojedynczych, których przedziwawą i silę poprawczą składa tylko przedstawicielstwo narodowe.

Zgromadzenie, składające się z członków wybranych w całych Niemczech i wszędzie według liczby ludności, niedozwoli zwicznac środkami ciężkości ani zewnątrz Niemiec, ani na korzyść jednej tylko ich części, i dla tego Prusy ze wszelką ufnoscią mogłyby wejść w podobny

skład rzeczy. Widoki i potrzeby ludu pruskiego są prawdziwie, nierozdzielnie też same co widoki i potrzeby ludu niemieckiego; tam gdzie ten pierwiastek zdoła być przedstawionym, według prawdziwej swojej wartości i znaczenia, Prusy nie ulękną się nigdy, aby wciągniętemi zostały w politykę przeciwną swemu dobru; lecz ta obawa sownicie jest usprawiedliwiona, kiedy obok organizacji, w której środek ciężkości zewnątrz Prus spoczywa, najspreszczniejsze i najodrębniejsze pierwiastki wprowadzane są jak zasada, w przedstawicielstwo ludowe.

Pozwoliłimsy sobie wykazac w tém co poprzedziło, główniejsze wady, bez poprawy których, według naszego pokornego mniemania, reforma związkowa w rodzaju doradzaney, przyjętej przez Prusy być nie może. Sądzimy przez to, że cząstkowa krytyka reformy związkowej frankfurckiej byłaby dopoty płoną, dopóki nieprzyszłoby do porozumienia w głównych szczegółach.

Przedstawiliśmy zatem w. k. mości potrzebę narad w tych przedmiotach ze spólzwiązkowymi, skoro uznasz n. panie, że przychylił się do przyjęcia wskazanych przez nas zasad i abys chciał wezwac rząd cesarsko-austriacki do zwołania wspólnie z rządem w. k. mości konferencji ministerjalnych, dla ułożenia innego planu reformy, który przedstawionoby wówczas udzielnym panującym niemieckim i przedstawicielom 4 miast wolnych na ich potwierdzenie. Wówczas zależeć będzie od rozstrzygnięcia panujących niemieckich, czy zechcą zbadac mniemanie ludowe przez organ wybranych przedstawicieli, lub czy będą woli zasażac konstytucyjnego przyzwolenia parlamentów pojedynczych państw, bez spólzdziałania przedstawicieli wybranych przez cały naród.

Blizkie otwarcie parlamentu pruskiego przedstawi rządowi w. kr. mości zrzeczość ocenienia mniemań przedstawicieli ludu pruskiego, co do aktu reformy związkowej, zapadłego we Frankfurcie, oraz co do zasad, jakie rząd królewski przeciw temu aktowi stawia; ani wątpliwy, że objawy przedstawicielstwa narodowego w Prusiech, dadzą prędko do zrozumienia, że niepodobna liczyć na jego zgodę co do zmian istniejących traktatów związkowych, chyba o tyle tylko, o ile te zmiany uszanują godność Prus, jako wielkiego mocarstwa, i dobro ludu niemieckiego w ogólnosci.

Lud pruski stanowi tak wielką część narodu niemieckiego; skojarzony jest tak ściśle przez potrzeby i widoki swoje, przez życzenia i przez uczucia z całym narodem niemieckim, że głos parlamentu pruskiego ustali punkt wyjścia, na którym dotąd zbywało, do osądzenia jak instytucje będące w zamiarze, zostaną przyjęte przez lud niemiecki. Berlin 15 września 1863 roku.

(Podpisano) Ministrowie: v. Bismarck, von Bodelschwingh, von Roeder, hr. von Itzenplitz, von Mühler, hr. von Lippe, von Selchow, hr. von Eulenburg.

**SZWECJA I NORWEGJA.**

Stockholm 15 września. Czytamy w dzienniku Aftonbladet: Niewiadomo jeszcze dokładnie, czy traktat przymierza między rządami duńskim i szwedzko-norweskim został już podpisany. Hrabia Hamilton, poseł szwedzki przy dworze kopenhaskim, powołany z tego powodu do Stockholm jeszcze stamtąd niewrócił. Utrzymują wszakże, że projekt traktatu wniesiony na radę ministrów, był na niej roztrząsany. Za podstawę rzeczony traktat miał przyjąć myśl już wypowiedzianą w notach ogłoszonych przez gabinet stockholmski w kilku upłynionych latach, a mianowicie, że królestwo szwedzko-norweskie niepowinno w żaden sposób wtrącać się do spraw księstw niemieckich, holztyńskiego i lauburgskiego; ale że z drugiej strony powinien głośno obwołać, i z całą siłą utrzymywać ten pewnik prawa europejskiego, że Szwecja, jako ziemia duńska, wcale nie należy do Niemiec.

Skutkiem czego, jeśliby Szwecja była napaśtowana przez wojsko niemieckie, siła zbrojna szwedzko-norweską wystąpi i spólnie działać będzie z wojskiem duńskim. Raz jeszcze powtarzamy, bo zadanie zwalikoło się i przez długosć czasu i przez mnogie szczegóły brane pod rozbiór; Szwecja niemoże poczytywać użytych środków przymusowych w Holztynie, za napaś na Skandynawję. Danja rozumie, że w bardzo krótkim czasie, może postawić 50,000 ludzi; Szwecja i Norwegja wyprawi do Szwecji na początek 25,000 żołnierzy, to jest 17,500 ze Szwecji, 7,500 z Norwegji.

Przymierze będzie wzajemne, a mianowicie że w razie zacepienia wojny Szwecji, Danja przybędzie na pomoc z taką siłą.

Państwo, któremu wojsko sąsiednie pospieszyło na pomoc, utrzymując je powinno własnym nakładem. Nie jeszcze dotąd nie postanowiono, czy, w razie zajęcia Holztynu przez Niemców, wojsko szwedzko-norweskie zbierze się w Skanji dla wkroczenia do Szwecji, lub czy natychmiast wejdzie do zagrożonego księstwa.

W oczekiwaniu zawarcia traktatu, mającego w obec Europy dac świadectwo wspólności politycznej między trzema królestwami skandynawskimi i uzasadnić nas z ironją, a które przyjmujemy z uszanowaniem i niem, dowiadujemy się, że rząd szwedzki zawarł traktat z krajem, który wprawdzie nie jest nam zbyt blizki, ale zawsze liczyć może na szczerą naszą życzliwość o jego byt i szczęście. Mówić chcemy o liberyjskiej rzeczypospolitej czarnych. Rzeczypospolite dnia 2 bieżącego miesiąca podpisany został w Londynie traktat handlu i żeglugi między Szwecją i Norwegją z jedną, przedstawionymi przez ministra naszym w Londynie, hrabię Wachtmeister, a ską, działającą przez posła swojego pełnomocnego pana Gérarda Ralston.

\*) Obacz depesze hrabiego Reichberg do cesarsko-austriackiego ministra pełnomocnego w Dreźnie z d. 5 listopada 1861, tudzież jej dodatki; a następnio depeszę hrabiego Borostorf do barona Werther z d. 2 lutego 1862 roku.

DEPESE TELEGRAFICZNE.

KORFU, czwartek 1 października. Parlament jónski został dziś otwarty. Zapal ludu i jego przedstawicieli jest niewymowny.

FRANKFURT, czwartek 1 października wieczorem. Na dzisiejszym posiedzeniu, sejm związkowy niemal jednomyślnie zgłosił wiadomą już przełożenie swych komisji w sprawie holsztyńskiej. Depesza angielska tycaząca się tego przedmiotu odesłana została do tychże komisji.

TRIEST, piątek 2 października. Wiadomości z Kalkuty z d. 4 września donoszą, że 20 tysięcy uzbrojonych poddanych Emira Kabulskiego, w liczbie, których ma znajdować się wielu dawnych Sipajów, którzy zostawali w służbie angielskiej, wtargnęło na ziemię angielską i że wyprawiono przeciw nim wojska.

Na granicy panuje wielki niepokój. Rząd ma zebrać w grudniu, w Lahore, 12 tysięcy wojska.

Wice-król uwiadomił rajahow kaszemirskich i synów świeżo zmarłego Dost-Mohameda, że pragnie widzieć ich w Lahorze. Władze miasta Kawnpur oznajmiły stanowczo, że człowiek uwięziony jako Nana-Sahib wcale nim nie jest.

KOPENHAGA, piątek 2 października. Ze sprawozdania budżetowego, przedstawionego sejmowi (rixraad) okazuje się, że minister urządził ostatecznie budżet na rok 1863-ci; oraz, że bez przyzwolenia starów holsztyńskich, budżet tego księstwa wcielono do ogólnego budżetu królestwa; że dla pokrycia niedoboru pochodzącego stąd, że rozchody centralne przewyższyły dochód centralny, użyto sumę 593 tysięcy talarów, z oddzielnego podskarbstwa holsztyńskiego.

BERLIN, piątek 2 października wieczorem. Północno-niemiecka poczta oznajmia, że okólnik ministra państwowego oświecenia do naczelnych prezesów prowincji i obwodów, odwołując się do świętego okólnika ministra spraw wewnętrznych, oświadcza, że odezwa królowa z d. 7 kwietnia 1863 r. (tycaząca się wyborów) tudzież okólnik wyżej wymieniony ministra spraw wewnętrznych, stosują się w ogólności do nauczycieli wszelkiego stopnia.

LONDYN, piątek 2 października wieczorem. Według wiadomości z New-Yorku z dnia 23-go, generał Bragg, po otrzymaniu posiłków w dwudniowej bitwie, pokonał generała Rosecranza, który straciwszy 12 tysięcy ludzi, schronił się do Chattanooga. Oczekiwane jest starcie się łodzi kanonijerskich związkowych z francuzkami (s i c) przy ujściu Rio-Grande.

Związkowci stoją naprzeciw oderwaniu na Rapidanie. Donoszą z Charlestownu z d. 20 września, że monitorowie nie mogą posunąć się naprzód i że działobitnie oderwanych nie pozwalają Związkowym sypać szafców i uzbroić ich działami.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

LATARNIE MORSKIE.—W ostatnich dniach zeszłego miesiąca ukończone zostało w zupełności ustawienie dwóch nowych latarni morskich przy ujściu Dzwiny do morza Bałtyckiego, w bliskości Diamentu. Obie latarnie zrobione są w Anglii z żelaza. Jedna z nich wznosi się nad powierzchnię morza 103 stopy, druga zaś mniejsza 26-u stop dosięga. Pierwsza kosztowała 48,000, druga 6,300 rub.

POZAR.—Prywatne miasteczko Uściąg w powiecie włodzimierskim, pamiętne porażką stronników Świdrygielły w r. 1431, znacznym handlem zbożowym ożywione, ale jak większość miasteczek wołyńskich z drzewa niemal całkiem zbudowane, w dniu 8 lipca r. b. stało się pastwą wielkiego pożaru. Jak zwykle się dzieje w drugorzędnych miasteczkach, nie było netylko znaczniejszych machin i narzędzi ognioch, ale nawet siekier, kraków, drabin i beczek do wody. Potrzeba tedy było z wiadrem tylko i próżnymi rękami stawić tamę szerzeniu się ognia; a że pomoc w takich warunkach jest mało skuteczną, to się rozumie samo przez się. Zgorzało 47 domów żydowskich i 48 kramów, a straty obliczają się na 100,000 rub. Przyczyny wybuchu ognia niedocieczono.

DZIENNIKARSTWO W GALICJI.—Narodni listy podają wziętą za źródło urzędowych następującą statystykę dziennikarstwa galicyjskiego. W ciągu trzeciego upływnego kwartału roku bież. oddawano na pocztę: a) polskich czasopismów politycznych: Czasu 2,223 egzemplarze, Gazety Narodowej 2,225, Gońca 456, Kroniki 350, Nowin ze świata 302; b) polskich niepolitycznych: Przeglądu domowego razem z Przeglądem (dodatkiem politycznym) 1,020, Dziennika literackiego 892, Dzwonka 800, Pracy 570, Niewiasty 497, Przeglądu lekarskiego 302, Czasopisma prawniczego 258; c) czasopismów rusińskich: Słowa 1,020, Wicznornie 800, Domu i szkoły 107; d) urzędowych: Krakowa Zeitung 216, Lemberger Zeitung 52, Gazety Lwowskiej 200; e) Czasopisma lwowskiego w języku żydowskim 280. Cyframi temi nieobjęto egzemplarzy rozchodzących się na miejscu samego wydawnictwa, oraz zabieranych na pobliskie osady przez posłańców.

TO I OWO I BAJARZ STARY.—Pod tym tytułem wyszły nakładem p. Maurycego Orgelbranda dwie książeczki obrazkowe „dla drobnych dzieł”, a mianowicie dla tych, które już się nauczyły czytać po wierzchu. Bujny i piękny druk, liczne kolorowane obrazki, a nadewszystko treść zupełnie zastosowana do pojęcia dzieciennego, a obejmująca nie tylko króciutkie powiastki, lecz bajeczki, wierszyki, powinszowania, zagadki i opisy stylem jasnym i w zupełności odpowiednim swojemu przeznaczeniu, rokują tej publikacji naj-

lepsze przyjęcie w sferze naszej jasnowidzącej publiczności. Wiele mamy dziecinnych książek, lecz te po większej części odnoszą się do wieku późniejszego, kiedy już w dziecku dają się dostrzec pewne zarody myśli, kiedy jego pojęcia od prostych, elementarnych, przenoszą się stopniowo do coraz bardziej skomplikowanych. Publikacja niniejsza wynagradza ten niedostatek. Rysunki obudzą ciekawość dziecka, które dopiero co wyszło z niemowlęstwa, poszuka ich objaśnienia w powiastkach, a mając do tego ułatwiony przystęp w bujnym, prześlicznym druku, nie tylko zaspokoili swą ciekawość, lecz nie jedną wiadomość zatrzyma w pamięci, nie jedną myśl z uspienia wydobędzie. Niektóre wierszyki, pełne prostoty i wdzięku pomimo swego zastosowania do pojęć najmłodszej dlatwy, mogłyby ozdobić każdy inny zbiór poezji, że przytoczymy tu tylko „Wiosnę, Dożynki, Do dzweczyńki, w „To i owo” i Dobry dzień, w „Bajarzu”. W tym ostatnim szczególną naturalnością i wyborań odnaniem dzieciennych rysów i wyrazu ich twarzący, odznaczają się ryciny p. n. K r ó w k a i P y s z a ł e k. W pierwszym zaś taż zalety posiadają: W r ó b e l l i O b i a d d l a l a l e k. Nie powiemy tego o winiecie „Bajarza” gdzie zamiast starca, którego tytuł i wstępny wierszyk zapowiada, znajdujemy młodzieńca, nie z „tabaka”, ale z paczkami róż w ustach, okazującego dzieciom obrazki. Zresztą jest to omyłka malarza, która wartości dziełku wcale nie umniejsza. Złowac też należy, że te ryciny nie w kraju, lecz za granicą były robione.

KORRESPONDENJA

KURJERA WILEŃSKIEGO.

Praga Czeska, 27 wrz.

Jeżeliście widzieli niedawno przez pewne towarzystwo uczonych niemieckich zrobioną składnię a ładnie kartę etnograficzną Austrii, nie mogliście niezatrzymać nad nią uwagi w tym właśnie miejscu, gdzie leżą Czechi. Netylko większa miłość ku pokrewnemu ludowi, niż ku innym plemionom składającym Austrię, netylko względ na przodkowanie kultury czeskiej przed wszystkimi innymi odnogami zachodniej Słowiańszczyzny w granicach cesarstwa, ale sama nawet postać wizerunku Czech w tym atlasie etnograficznym nadewszystko uderza oko. Trudno o szerszą i szerszą widok. Czerwona barwa, która na karcie przedstawia żywił germańskich, opasła dokładnie zamkniętą obręczą całą krainę Przemysławów i Podjebradzkich, środek jej tylko pozostawiając czystym. Rzecz naturalna, iż ta opaska nie wszędzie jest jednolitej mocy. Od północnego i południowego zachodu, dwie strony czworoboku, zowiącego się dotąd urzędowo Królestwem Czeskim, przytykają do Saksonji, Bawarii i Austrii właściwej, najbardziej zostały ściśnięte czerwoną barwą niemiecką, która też najdalej z tej strony w obręby Czech wkroczyła, tak, że niektóre pograniczne miejscowości całkowicie zniemczono. Od północnego i południowego wschodu, dwie inne strony czworoboku czeskiego, jako przytykające do Ślązka i Morawy, krajów niegdyś czysto słowiańskich, dosięgnęły mocno dziś zniemczonych, nieporównanie słabiej są odgrózione, i dążenie germanizmu do wnętrza kraju z tej strony szupule tylko uczyniło postępy. Pomimo jednak tego, jakieśmy rzekli wyżej, jedynie sam środek Czech czystym zupełnie pozostał, z wyjątkiem wszakże miast znaczniejszych, a zwłaszcza stolicy, gdzie mnóstwo napływowej ludności niemieckiej zamieszkało. Od czasu niefortunnej bitwy białogórskiej, która sześć lat wrota na lat kilkadziesiąt wypływi niemieckiemu w Czechach, lud tego kraju, nieoświecony i ubogi, bo szlachta zamożna i oświecona albo znikła, albo do przeciwnego przechodziła obozu, bierny tylko mógł stawić odpor germanizacji aż do pierwszych lat wieku bieżącego.

Lecz to poczęli tu pracować nad sobą a; w tym wyrażeniu leży cała treść dzieł czeskich z lat ostatnich; polityka w znaczeniu ścisłym, jako gra w ślepą bawkę, jest u Czechów rzeczą dodatkową. W stosunku do Austrii, Czesi stanowią najsworniejszy zastęp federalistów, w znaczeniu formalnym angielskiego wyrażenia: „władza opozycja jego królewskiej mości”. Stoją na patencie październikowym, zarczającym autonomię krajów składających cesarstwo; walczą przeciwko patentom lutowym, jako te autonomię uszczuplającym, przeciwko ministerstwu Schmerlinga, jako tych patentów autorowi, i przeciwko wykonawcom jego centralistycznych zamysłów. To treść ich politycznego ziałań. Spróbowali raz wysłać postów swoich do rady cesarstwa w Wiedniu; lecz kiedy s; spojstrzeli, iż tam nie niewskorają dla swych celów, rozwoju wewnętrznego, w tym roku dali pokój przejażdżce i pozostali na uboczu.

Jeszcze mniej, jeżeli to być może, zwracają Czechowie uwagi na swój stosunek do Niemiec w ogólności, i któremi los dzieje ich związał. Czesi, z tytułu elektorstwa swoich niegdyś królów własnych, chociaż wiadomo jak ten tytuł próżny był treści, dostali się jednak w skład rzeczy niemieckiej przy ustanowieniu dziś nad grobenstojącego „Bundu” frankfurckiego. Otoż z tego powodu, co się niedawno mówiło na zjeździe sjażat w Frankfurcie, mówić się zarówno i o Niemczech i o czeskiej Pradze, i mieszkawców tej ostatniej nieinteresować nie może. Jeżeli jednak interesują się tutaj wypadkami, to tylko przelotnie, co zaraz widac w niejednostajności poglądów, jaka nigdy do sław domowych kraju nie wchodzi. Jedni, a do tych należą nie sami tylko Czesi, lecz wielu innych Słowian, powiadają, że we Frankfurcie na coś niepospolitego się zakroili, lecz że parlament frankfurcki, któremu okleźności sjażat wynająć się nareszcie dozwolił, nie dla nich się zrobił; a więc chociaż ciekawość była o chwila telegrafem przylatującej nowin z nad Menu, powiadali, że niema powodu przykładać do tego przedmiotu bacznijszej uwagi, niż np.

do spraw meksykańskich. Inni znowu przyglądali się pilno zjazdowi, ale tylko jako wielkiej osobliwości, jako wspaniałemu wystąpieniu myśli niemieckiej, która koniec końców powróci do krajów ideałów. Tylko dziennikarstwo czujne na swoim stanowisku, słowami obwinieniem w bawelnę ta i ówdzie odzywało się z obawą, że zjazd frankfurcki moonitę niż dotąd kraje słowiańskie może przywiązać do Niemiec. Zdaje się jednak, że te obawy na dzisiaj są przedwczesne: przy najmniej mało się tu znajduje wierzących na prawdę w powodzenie zagajonych reform z związku. Austria dowiodła swęj biegłości w skorzystaniu z omyłek Prus, a raczej dżisiejszego pruskiego ministerstwa, gdy wzięła tę sprawę właśnie dzisiaj. Lecz niech ta omyłka, zowiąca się Bismarck, Roon i Comp. zostanie naprawioną, a Prusy znowu do swęj przewagi w umysłach Niemiec powrócą, i będzie po wszystkich tych planach. Tak się w Czechach ostatecznie na tę rzecz zapatrują, a czy słusznie, to czas pokaże.

Zywiej niż zjazd frankfurcki zaprzętają umysły Czechów, świąteczne a tłumne obchody na cześć św. Cyrylla i Metodęgo, do których nieprzerwanem pasmém snowane. Dnia 9 bież. mies. Karlin pracki roil się niezmiernie miasami ludności zgromadzonej na uroczystość poświęcenia dzwonów, ulanych z darów prywatnych na utrwalenie tegorocznego jubileuszu. Tegoż dnia w miejscu urodzenia głosnego przedstawiela Czech Riegra, była pod tymże tytułem św. Apostołów uroczystość muzyczna, w której samych śpiewaków znajdowało się więcej niż 300. Zaledwie to się odbyło i przegadano, oto znowa niedawno Prażanie wszyscy byli zajęci wyprawą do Brnu na wielką muzyczną uroczystość świecką obchodu tysiąclecia pamiętki wprowadzenia chrześcijaństwa do krajów słowiańskich. Wiadomo, iż fest na Welehradzie, który sto tysięcy Słowian był zgromadził dla uczczenia pamiętki św. Cyrylla i Metodęgo, był tylko czysto religijnym obchodem. Dla uzupełnienia więc tej uroczystości ze strony politycznej postanowiono odbyć nowy zjazd w Brnie w dniach 24, 25 i 26 bież. mies. Za hasło wzięto myśl współczesnego z wprowadzeniem wiary świętej wyzwolenia Słowian od propagandy niemieckiej, dobrze zjadnąc i w starożytności Litwy ze styczności jej z zakonem Krzyżowym. „Obaj apostołowie słowiańscy Cyryll i Metody”, powiadają z tego powodu Narodni Listy w swoim artykule rozumowanym, — szerząc pomiędzy przodkami naszymi wiarę Chrystusową słowem miłości, mocą przekonania, gorącością natchnienia, ocalili Słowiańszczyznę zachodnią od propagandy niemieckiej, która, pod pozorem szerzenia świętej wiary, czystej miłości i najszlachetniejszej ludzkości, opasła swe apostołstwo mieczem... Obchodząc tę tysiąclecia pamiętkę, oddajmy cześć imieniom dwóch mężów, co odwrócił od Słowiańszczyzny zachodniej owe krwawe miecze niemieckie, które im wygubiono do szęstu północno-zachodnie odrośle słowiańskie, kwitnące nad brzegami morza Bałtyckiego aż do ujścia Łaby... Zastrzeżono jednak najwyraźniej, iż uroczystość będzie czysto pamiętkową, daleką od wszelkich aluzji do teraźniejszości, i z trzeźwością pilnowaną się tego programu. Z Pragi w d. 24 sierpnia wyszedł osobny pociąg passażerski do Brnu, z zmniejszoną do połowy opłatą do miejsc drugiej i trzeciej klasy, ażeby i najbiedniejsi w obchodzie uczestniczyć mogli. Stoleczne miasto Morawy przez kilka dni następných roilo się ogromnem miasami ludności, która z samej Morawy, Czech, Słowaczyny, Ślązka i innych okolic na uroczystość się zbiegła. Telegraf też miał wiele przez te dni do czynienia: nieobecni ze wszech stron przesyłali zgromadzoným pozdrowienia. Takiego ruchu i życia Brn dawno niewidział w swych ścianach. Zaledwie to się skończyło, w dni następane, a mianowicie 28, 29 i 30 tegoż miesiąca, młodzież ucząca się z Czech, Morawy, Ślązka i Słowaczyny zgromadziła się była na Welehradzie celem nowego uroczystego obchodu teje pamiętki św. Cyrylla i Metodęgo, naturalnie w skromniejszej liczbie i z mniejszą niż w Brnie wystawą. Dziś mówią o nowych uroczystościach; jutro może się znowu dowiemy o jakimś nowem z teje przyczyny zgromadzeniu!

Poniawż zagadaliśmy o uroczystościach, opiszę wam jeszcze jedną, chociaż dla jej oglądania wybież musimy nieco po za Czechy właściwe, do Słowaczyny. „Czesi i Słowacy”, jak tu mówią, „netylko są bracia rodzeni, ale nadto bliźnięta”; niezgrzeszymy więc, mówiąc pospółu o jednym i o drugim. Owoż ci rodzeni bracia Czechów, d. 4 sierpnia obchodzili pamiętką na przyszłość i ważną w dniu dzisiejszym uroczystość pierwszego walnego zgromadzenia Maticy Słowackiej, założonej na wzór Czeskiej ku wspieraniu piśmiennictwa i szerzeniu oświaty w massach, przez wydawanie tanich książek, utrzymywanie biblioteki publicznej i t. p. Zgromadzenie odbyło się w Św. Martinie, dokąd ze wszystkich okolic Słowaczyny zbiegło się na ten obchód około 6,000 osób. Uroczystość starym obycajem słowiańskim, rozpoczęła się o godzinie 7-jej mszą świętą, którą celebrował biskup Moyses, a po której opat Gotczar, przy pominięciu z kazalnicy o tysiąclecia pamiętkę nawrócenia do wiary chrześcijańskiej, w gorących słowach skreślił cywilizacyjne znaczenie obecnej uroczystości na progno nowego tysiąclecia. Następnie o godzinie 8-jej lud z kościoła katolickiego udał się do świątyni ewangelickiej, gdzie również uroczystego słuchał nabożeństwa, po którym ogromne tłumy synęły się ku domowi, wybranemu na walne zgromadzenie Maticy. Nad tą budową, przystrojoną w kwiaty i wionce, powiewała ogromna biało-błękitno-czerwona chorągiew z napisem: „Spas lud swój Hospodine!” (zbaw lud twój Panie), a nad głównem wejściem świątyni otoczone chorągiewami barwy narodowej godło Maticy: w polu czerwonym trzy pagórki błękitne z podwojnym białym krzyżem.

W orszaku duchowieństwa i wielu znakomitszych obywateli przybył na posiedzenie biskup Moyses, i był powitany uroczystym okrzykiem: „slava!” (cześć). Po przemówieniu komisarza rządowego, wystąpił prezydujący komitetu tymczasowego p. Francisci z mową, w której największy kład nacisk na znaczenie nowej instytucji, i przerywany okrzykami pochwał, zawiadomił, że cesarz Franciszek-Józef ofiarował dla Maticy 1,000 złr., a biskup Moyses 2,400 złr. Z odczytanego następnie sprawozdania się okazało, iż zaledwie wchodząca na drogę rzeczywistości Instytucja liczy obecnie członków założycielów 441, członków stałych 431, a rocznych 112, ogółem 984. Liczba osób, które z ofiarami na rzecz Maticy pospieszyły, przewyższa dotychczas 4000. Z wyjątkiem szlachty, która zaledwie kogoś w gronie ofiarodawców liczy, a w ogólności jako niemiecka lub ziemczala, krzywem okiem patrzy na to dzwignięcie się umysłowości Słowaków, w niesieniu składek braty udział wszystkie krajowe słudności krajowej. Mienie Maticy tą drogą zgromadzone, w dniu otwarcia wynosiło w gotowiznie 94,251 złr. 95 kr.: rzecz za prawdę godna uznania, jeżeli zwrócimy uwagę na szęstuściu granic i niewielką zamożność ludności słowackiej! Po ukończeniu sprawozdania, przystąpiono do wyboru prezesa i członków komitetu Maticy. Prezesem jednogłośnie obwołany został ks. biskup Stefan Moyses; na wice-prezydenta był powołany p. Francisci, lecz gdy się inni obwołani wymówili i gdy p. Daxner także urzędu tego nieprzyjął, obrano dra K. Ruzmanęgo. Gdy wybór dalszych członków komitetu został ukończony, mianowano osobną deputację, mającą udać się do Wiednia dla złożenia podziękowania cesarzowi za zatwierdzenie ustaw i wsparcie pieniężne Maticy. Po zatwierzeniu kilku rzeczy pomniejszych postanowiono dalej prosić cesarza o zatwierdzenie ustawy Maticy w takim brzmieniu, jak była pierwotnie urzędem przelożoną; wreszcie obrano „Peszbudinskie Wiadomości”, za stały organ Instytucji, a p. E. Krczmeręgo mianowano księgarzem Maticy. Zgromadzenie rozszęło się wśród okrzyków o godz. 4-jej po południu; dnia zaś następnego komitet Maticy odbywał już swe pierwsze obrady, z których zaprawde wiele pięknego wyrósł kiedyś dla Słowaków. Kto się przypatrzył mnogim owocom dobrego, przez Maticę Czeską wypielęgowanym, ten o przepowiedni naszej ani na chwilę niezwąpł. Widząc je, niedziwny się Słowakom, że w szlachetnym zapędzie miasto św. Marcina, które prztyłek dało Maticy, nazywają teraz „Betleemem narodowego żywota Słowaczyny.” (D. n.)

DOM ZLECEN

Braci Chotomskich i Koronowicza. Królewiec, 1 października.

Ceny zboża od ostatniego sprawozdania naszego jeszcze nie poszły w górę, a nawet cofnęły się, chociaż ze sprawozdań angielskich wynika, że o 10 milionów szefli pszenicy mniej do Angji dowieziono w 8 miesiącach r. b. aniżeli w tymże samym czasie roku zeszłego, a mimo tego ceny szęstoroce o 26 1/2 sgr. przy pszenicy na szęflu, czyli o 6 rs. na beczce niżęj w tym roku, aniżeli w roku zeszłym o te czasy; w 8 miesiącach r. z. 29,179,834 szefli, w roku bieżącym 19,179,834 dowieziono do Angji. Położenie to niernomalne jest tylko wynikiem niepewnych stosunków politycznych, przed któremi spekulacja tęp jest trwożliwszą, im groźniejsze chmury na horyzoncie. Jak sporadyczne objawy chwilowego podniesienia się cen są wywołane dla zapotrzenia potrzeb miejscowych, ale zarazem są dowodem, że jak najmniejszy ruch w handlu nie ku niżzeniu się ma, tak z drugiej strony, gdy ceny gdzie niegdzie się cofną, nie dowodzi to wcale niczego innego, jak że przy braku chęci do kupna, chcący sprzedać koniecznie większą ilość zboża robi dla konieczności ofiarę. Te fluktuacje są do ocenienia rzeczywistego stanu rzeczy pobieżne, — główne zaś za podniesieniem cen przemawiające przyczyny są: na kontynencie klęska nadzwyczajnego nieurodaju na 1400 mil kwadratowych w Węgrzech, dla ratowania których od głodu rząd austriacki kilkadziesiąt milionów nadzwyczajnej pożyczki zaciąga i nieustająca wojna Stanów zjednoczonych północnych z południowymi w Ameryce. Jeżeli zatem Węgry, które za 100 milionów wywozy, obecnie około 50 do 60 milionów zboża zapotrzebują, natenczas export do Angji o tyle się zmniejszy, a statystyka nam dowodzi, że i w najbójtszych latach, Anglja jedną trzecią swęj konsumpcji dowiezioną mieć musi, bo nie jest w stanie się wyżywić.

Ceny węgry we Wrocławiu są jednostajne, polskie jednostrzyczne 65, 68, 71 tal. Do budowania kolei białogrodzko-czeskiej, towarzystwo Anglików potrzebny kapitał wkłada i ministerjum już konsens udzieliło. — Tak ta kolej, jak i tyle innych na północny Prus budujących się, mianowicie z Królewca do Piawy, do Torunia, na Elk ku Grodnui, z Wystrucia do Tyli i Klapedy, a wszystkie kapitałami angielskimi, — ilość znaczną kapitałów w kraj wprowadzi, które nie mogą pozostać bez wpływu na ceny produktów rolniczych, a że te ostatnie nie mogą być pomnażane tak dowolnie jak pieniąż, przeto oczywista, że pieniąż stanęje a produkt się podroży. Przy wyłożonej pracy społeczeństw w polsku zostających do coraz większego pomnożeniu i nieszczerca posuchy, nagle przerwana w postępie swoim, stanąć niebawem musi choć na czas krótki. W dysproporcji do kapitału wartości potworzonych, przychodzimy do tego przesilenia, które wyższe niż cenami zboż się rozpoznie. Płacono na giełdzie naszęj:

za becz. litew. rb. kp. rb. kp. Pszenicy jasnej . . . 19—30 17—10

Table with exchange rates for various currencies and goods, including 'Złoty', 'Groszy', and 'Za ruble'.

ROZMAITOŚCI.

Przed kilku miesiącami pochowano Horacego Werneta, tegoż jak go francuzi nazywali, Dumasa malarstwa; niedawno znowu umarł artysta, którego żywą wyobraźnię i wielkość pomysłów i stylu porównywano do Wiktora Hugo. Eugenjusz Delacroix umarł z wycieńczenia sił, wówczas, kiedy spodziewano się od niego wiele jeszcze nowych utworów. Ferdynand-Wiktor-Eugenjusz Delacroix urodził się w Charanton-Saint-Morie dnia 26 kwietnia 1799 r. Ojciec jego był członkiem konwencji i syn odziedziczył po nim nieugięty charakter i ognistą duszę. Jeden z niewielu rozbitków losu, został ministrem dyrektorjatu, prefektem w Marsylii, potem w Bordeaux. Wiek dziecinny Eugenjusza obfitował w wypadki, połączone z niebezpieczeństwem życia. Najprzód zapaliła się kołyska jego i tylko co się uduśli w kłębach dymu; potem otrul się zieloną farbą i zaledwie zdołano go uratować; wkrótce potem uduł się postką winogronową; potem znowu bawiąc się szablą brata swęgo oficera ścisnął gardło rzemieńcem i tylko co się nie uduśli; w końcu biegając koło portu w Marsylii wpadł do wody i stamtąd pól umarłego wyciągnął jeden majtek. Przysiągł sławę jego przepowiedział mu jeden warjat w Marsylii. Zatrzymał on na ulicy niankę z dzieckiem i rzekł: „Będziesz znakomitym człowiekiem, będziesz wiele pracować, spotkasz wiele przeciwności.” Otoż i w samej rzeczy mając lat dziewięć, Delacroix wstąpił do liceum cesarskiego, gdzie Gericault kończył kurs. W niedzielę zaprowadzono go do muzeum Napoleona. Był tam arcydzieła Wloch, Hiszpanji, Hollandji, obrazy które koleją zwycięstw przeszły do Francji. Utwory Rafaela, Rubensa, Tycjana, Tintoretto tak go zchwyliły, że wychodząc z muzeum był już malarzem. Mając lat 18, uczył się w pracowni Guérina, który go nie lubił za romantyzm przebijający się w słowach i postępkach młodego człowieka, za nieuznanie prawideł i postanowień akademickich będących wówczas w modzie. W r. 1822 posłał na wystawę swój pierwszy obraz „Dante i Virgiliusz.” Obraz ten okrzyk już go sławę. Thiers, był wówczas jeszcze młodym dziennikarzem i w „Constitutionnel” poświęcił artykuł genjalnemu malarzowi. Jednakże wyznawcy klasycyzmu zaczęli go ganić. Mówiono, że Delacroix przesadza wyrażać uczuć na twarzach, że niezna anatomji i że talentu jego wystarczy tylko na jeden obraz i że potem nie już więcej nie stworzy. Malarz odpowiedział „Rzeźbi w Scio.” Znalezione w utworze tym wiele dzikości, ale najzwazjęści krytycy zmuszeni byli uznać talent młodego malarza, który szęł śmiało naprzód, niezważając uwagi na przeciwności, które mu warjat przepowiedział. Eugenjusz stał się wkrótce głową nowęj szkoły, a klasycyści chcieli zamknąć dla niego drzwi wystawy. Chciano też wpoić w niego dojrzałe myśli, ale on zwykle odpowiadał: „Nic na świecie nie musi mnie kłamać i patrzeć na rzeczy tak jak chcą druzdy.” Z takim charakterem żyć było ciężko, artysta jednak nie rozpaczal. Ciągłe napady doświadczeń mu bódca i Eugenjusz wkrótce wymalował: „Śmierć Marino Faliero”, „Śmierć Sardanapala”, „Kardynała Richelieu” i wiele innych. Kiedy w rzeczy samej doszło do tego, że zamknięto przed nim drzwi wystawy, Delacroix zaczął rysować litografie. Zbiór litografij tych bardzo jest teraz drogi i rzadkim. W nich odbija się charakter i talent wielkiego artysty. On to odrysował ilustracje do Fausta i stary Goethe rzekł: „Odmalowałem, patrząc na te rysunki.” Zasył lipcowe wypadki, rzeczy się zmieniły i rząd zamówił u Delacroix dwa obrazy „Bitwę przy Jemappes i Valmy”, to jest apoteozę króla obywatela. Syn członka konwencji wymalował zupełnie co innego i obraz ten schowano w najciemniejszy kął Luwru, a malarzowi zaproponowano jechać do Marocco z posłami udającymi się do tego kraju. Dla drugiej podróży ta byłaby wygnaniem, ognista wyobraźnia Delacroix pragnęła widzieć nowych ludzi, kraj nowy i wycieczka ta stała się marzeniem jego. Kraj dziki, fantastyczne ubiory, upały, oryginalne życie, rozkoszna przyroda, wszystko to zrobiło na nim tak silne wrażenie, że do śmierci nie mógł zapomnieć Marocco i nie chciał nawet być we Włoszech. Delacroix studiował typy koni, lwów i zwierząt, które w obrazach jego odznaczają się życiem, ogniem, wspaniałością. Pomimo przesądów muzałmanów, udało mu się nawet zdjąć kilka ich portretów. W obrazach „Kawalerja Marokańska”, „Potyczka kawalerji arabskiej”, konie również jak i jeźdźcy t-hną życiem; w obrazie „Karol Śmiały pod Nancy” widoczne wysilenie konia, starającego się wydobyć z bagna. W „bitwie pod Talburgiem” koń Ludwika św. dumnie stoi na ciałach nieprzyjaciół. Koń Attylii groźny i straszny jak i pan jego. W „Polowaniu na lwy” zwierzęta oddychają i żyją, słowem wlat wszędzie życie, ogień i energję, którą miał w duszy. Powróciwszy z Marocco, Delacroix przedko skończył: „Karola V w klasztorze św. Justyna”, „Medea”, „Wesela w Marocco” i wiele innych obrazów. Prócz tego wymalował sufit w Luwrze i dekoracyjne obrazy w ratuszu. Na wystawie londyńskiej był wiele jego obrazów, Anglicy zachwycali się nad nim i porównywali go do Shakespeare’a. Był nadzwyczaj czynnym. Pracował dzień cały, nikogo nie przyjmował, pracował nie dla pieniądzy, nie dla sławy, lecz dla tego, że nie mógł nie malować. Myśl jedna go zajmowała: jak go oceniać po śmierci. Za życia o nic się nie starał. Nie myślał o sobie. Cóż dziwnego, że siły jego się wyczerpały, że umarł z wycieńczenia. Kochał tylko sztuki piękne i ubolewał nad malarzami, którzy się żenią, a tęp przy-

